

Леонид Карпов



**Циничная
училка. Том 1**

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 1

«Автор»

2026

Карпов Л.

Циничная училка. Том 1 / Л. Карпов — «Автор», 2026

Знакомьтесь: самая циничная училка в мире Александра Сергеевна Пушкина. Рост – 90 см, филологический ум – космический, цинизм – абсолютный. Заслуженный учитель РФ препарирует такие шедевры, как «Гамлет», «Война и мир», «Горе от ума», «Generation "П"», «1984», «Архипелаг ГУЛАГ», «Братья Карамазовы». А чтобы лично высказать авторам все, что она думает об их биографиях и текстах, эта микрофурия умеет даже прыгать в прошлое, где общается с Гомером и Гете, Вольтером и Гоголем, Маркесом и Буниным...

© Карпов Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

«451 градус по Фаренгейту», Рэй Брэдбери	5
«1984», Дж. Оруэлл	7
«Generation "П"», В. Пелевин	9
«Silentium!», Ф. Тютчев	11
«А зори здесь тихие», Борис Васильев	13
«А что у вас?», Михалков С. В.	16
«Аленький цветочек», С. Аксаков	18
«Алеша, Илья и Добрыня», русская былина	20
«Алые паруса», А. Грин	22
«Анна Каренина», Л. Толстой	24
«Архипелаг ГУЛАГ», А. Солженицын	27
«Ася», И. Тургенев	29
Афанасьев Александр Николаевич	31
«Баба-яга», русская народная сказка	34
«Багиня», Леонид Карпов	36
Байрон, Джордж Гордон	38
«Баллада о любви», В. Высоцкий	41
«Барышня-крестьянка», А. Пушкин	43
Басни Эзопа	45
«Бедная Лиза», Н. Карамзин	47
«Бедные люди», Достоевский Ф.	49
«Бежин луг», Тургенев И.	52
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 1

«451 градус по Фаренгейту», Рэй Брэдбери

Июньское солнце заливало перрон вокзала провинциального города N густым, как липовый мед, полуденным зноем. Воздух, казалось, застыл, окутывая старые водонапорные башни и редкие маневровые тепловозы истомой, достойной кисти Левитана.

На дубовой скамье, утопая в кружевах старомодного зонтика от солнца, сидела Александра Сергеевна Пушкина. Заслуженный учитель Российской Федерации, чей филологический гений признавали даже в министерстве, занимала ровно четверть скамейки.

Крошечные ножки лилипутки в изящных туфлях двадцать четвертого размера, не доставая до асфальта, мерно покачивались в такт далекому гудку локомотива. Девяносто сантиметров роста и двадцать пять килограммов живого веса, увенчанные седой, безупречно уложенной прической, транслировали в мир такое монументальное величие, что проходящие мимо обходчики путей невольно подтягивали животы.

Рядом, на самом краю скамьи, подобострастно согнувшись, сидел молодой практикант Арсений Недопистин. Он благоговейно внимал.

– Вы только вдумайтесь, Арсюша, в эту хрустальную, звенящую тоску американской фантастики, – заговорила Александра Сергеевна, и ее грудной, бархатный альт поплыл над рельсами, заставляя умолкнуть даже вокзальных ворон. – Рэй Брэдбери. Великий визионер, воспевавший трагедию угасающего человеческого духа. Его «451 градус по Фаренгейту» – это не просто антиутопия. Это реквием по культуре, симфония очищающего пламени, где каждая сожженная страница – как капля крови на алтаре наступающего техногенного безумия. Какая нежность к печатному слову! Какой метафизический трепет перед бездной, в которую катится ослепшее общество, променявшее шедевры Шекспира на бессмысленный шум интерактивных стен и ушных «ракушек»! Гай Монтэг – это же неопалимая купина духа, прозревающий титан, восстающий против...

В этот момент со стороны путей донесся оглушительный, утробный хрип. Коренастый путевой рабочий в грязном оранжевом жилете смачно сплюнул на рельсы, вытерев нос засаленным рукавом, и громко, на весь вокзал, выругался в адрес заклинившей стрелки.

Александра Сергеевна осеклась. Маленькие, острые, как у коршуна, глаза сузились. Взгляд, способный обратить в пепел любого одиннадцатиклассника, уперся в рабочего, а затем перетек на ошарашенного практиканта. Филологическая атмосфера испарилась, уступив место ледяной стуже казенного морга.

– Господи, Арсений, какую же херню нам втирали в американских аннотациях, – сухо, со свистом произнесла Пушкина, мгновенно растеряв весь свой пафос. – Вытри слюни и запиши то, что я тебе сейчас скажу, потому что в твоём педагогическом вузе до этого дегенераты на кафедрах в жизни не додумаются.

Лилипутка поправила кружевной воротничок, который на ее крошечном теле выглядел как боевой доспех.

– Весь этот ваш Брэдбери – это не плач по культуре. Это гениальная, сука, исповедь клинических обывателей и латентных психопатов. Давайте препарируем этого вашего «титана» Монтэга. Кто он такой? Обычный, тупой как пробка силовик с кризисом среднего возраста. Десять лет чувак с криками и улюлюканьем жжет чужие библиотеки. Ему по кайфу! У него от этого, цитирую, «кровь стучит в висках». И тут появляется Кларисса Маклеллан – семнадцатилетняя шизофреничка с синдромом дефицита внимания, которая гуляет под дождем и

жрет одуванчики. Любой нормальный психиатр запер бы ее в палату с мягкими стенами, но у нашего пожарного от ее пустой болтовни внезапно случается гормональный сбой. Он вдруг осознает, что его жена Милдред – дура.

Александра Сергеевна презрительно фыркнула и переложила крошечную сумочку с колен на скамью.

– А Милдред что? Да она единственная адекватная баба в этом дурдоме! Ну сидит она в своих «ракушках», ну смотрит «родственников» по телестенам. А что ей делать, если ее муж – профессиональный поджигатель и потенциальный маньяк, который держит дома под вентиляцией контрабандный склад макулатуры? Да от такой семейной жизни не то что таблетками отравишься – вены вскроешь бензопилой! Она стучит на него в пожарку не из-за верности режиму, Арсюша. Она просто спасает свою шкуру, потому что понимает: этот лысеющий романтик с канистрой керосина рано или поздно пустит по ветру их общую ипотечную квартиру.

Практикант Недопистин сглотнул, боясь пошевелиться. Ментальное давление девяносто-сантиметровой женщины было таким, будто на скамью приземлился гидравлический пресс.

– Но самый цимус – это финал, – Пушкина хищно улыбнулась, обнажив мелкие, ровные зубы. – Монтэг убивает своего начальника Битти. Сжигает живьем из огнемета. То есть высокодуховный читатель книг решает свои проблемы старым добрым ультранасилием. И куда этот светоч мысли бежит? В лес! К так называемым «интеллектуалам». О, это моя любимая сцена! Стадо престарелых хиппи сидит у костра вокруг котелка с вонючим супом. Один из них заявляет: «Я – „Государство“ Платона, а вон тот алкоголик в кустах – „Путешествия Гулливера“». Арсений, это же апофеоз человеческого эгоцентризма и шизофрении! Они не пытаются что-то изменить, они не учат детей, они просто сидят в глуши, дзюбят, фапают на собственную исключительность и ждут, пока мегаполисы взлетят на воздух. Они радуются атомной бомбардировке города! Потому что теперь-то, среди руин и трупов миллионов людей, эти напыщенные индюки выйдут из леса и будут диктовать выжившим дикарям свои правила, цитируя Экклезиаста.

Александра Сергеевна резко захлопнула зонтик. Звук получился сухим, как выстрел.

– Брэдбери написал великую книгу о том, что литература сама по себе не делает человека человеком. Монтэг прочитал пару абзацев, но как был разрушителем, так им и остался – просто сменил ведомство. И эти лесные сидельцы – такие же паразиты, ждущие гибели цивилизации, чтобы за счет чужого пепла потешить свое интеллектуальное эго. Парадокс, мой мальчик, в том, что брандмейстер Битти был прав: книги приносят меланхолию и хаос, если их читают идиоты. А идиотов, как показывает моя тридцатилетняя практика в этой дыре, абсолютное большинство.

Послышался грохот приближающегося поезда. Александра Сергеевна легко соскочила со скамьи, расправила юбку и, не оборачиваясь, бросила онемевшему практику:

– Хватай чемодан, Арсений. Поезд пришел. И не вздумай писать в планах уроков про «гуманизм Брэдбери». Напишешь про «эгоистическую природу мнимой интеллигенции» – хоть посмеемся на педсовете.

«1984», Дж. Оруэлл

Июньский закат густо и неподвижно лежал над тихой заводью провинциальной реки, где на старой, пахнувшей мазутом и прелью лодочной станции время словно замедлило свой ход. Вода, тяжелая, как литой свинец, едва заметно колыхала камыши, и в этом сонном величии природы было что-то от неизбывной тоски левитановского пейзажа.

Александра Сергеевна Пушкина сидела на самом краю покосившегося деревянного причала, свесив крошечные, обутые в ортопедические сандалии двадцать четвертого размера ножки над темной зеркальной гладью. Заслуженный учитель Российской Федерации, чей затылок едва доставал до пояса среднестатистического одиннадцатиклассника, казалась случайным свертком дорогой, строгой ткани, забытым кем-то среди суровых среднерусских просторов. Но стоило ей заговорить, как этот микроскопический силуэт весом в двадцать пять килограммов словно разрастался, подчиняя себе и крик далеких чаек, и робкое дыхание стоящего рядом молодого коллеги.

– Вы только всмотритесь в этот монументальный реквием по человеческой свободе, голубчик, – тихо, но отчетливо произнесла она, и ее безупречно поставленный филологический альт поплыл над водой. – Эрик Артур Блэр создал не просто антиутопию. «1984» – это величественный, симфонический плач по утерянному раю индивидуальности. С какой сакральной нежностью, с каким библейским трепетом автор препарирует трагедию Уинстона Смита! Это же подлинный экзистенциальный бунт духа против безликой хтони государства. Каждая строчка романа наполнена великой болью за человека, за его право любить, помнить, дышать... Какая метафизика страдания! Какое очищение через катастрофу...

В этот момент тишину бесцеремонно оборвал жирный, наглый комар. Он с писком опустился на крошечную, сухую ладонь Александры Сергеевны. Лилипутка даже не вздрогнула. Она снайперски точным щелчком пальцев прихлопнула насекомое, брезгливо размазала его кровь по доске причала и, резко повернув к коллеге умное, испещренное благородными морщинами лицо, заговорила совершенно другим тоном – сухим, хриплым и злым:

– Хотя, если без соплей, Оруэлл написал гениальное пособие по клинической глупости. Все эти наши завучи и методисты из гороно дрожат над этой книгой, видя там «ужасы тоталитаризма». Идиоты. Книга-то вообще не про политический строй, она про то, что средний обыватель – это трусливое, похотливое и фантастически тупое животное, которое заслуживает каждую секунду своего личного ада.

Она поправила съехавшие на кончик носа очки в массивной роговой оправе, сделавшие ее похожей на ядовитую сову.

– Давай разберем твоего великого «борца» Уинстона Смита, – отчеканила Александра Сергеевна, и в ее голосе зазвучал металл, перед которым бледнели директора школ. – Кто он такой? Мелкий, прыщавый клерк с язвой на лодыжке, чья главная доблесть – профессионально фальсифицировать прошлое в Минправды. Он же системный червь. И весь его так называемый «бунт» начинается не от великого ума или жажды свободы, а от банального спермотоксикоза и скуки. Ему просто не давали. Как только подворачивается Джулия, вся его «идеологическая платформа» схлопывается до размеров постели в вонючей каморке старьевщика.

Она коротко хмыкнула, глядя на ошарашенного коллегу.

– Они думают, что занимаются революцией, а на самом деле они просто трахаются на чердаке под песни пролетарского телекрана. Оруэлл же издевается над ними! Уинстон считает себя интеллектуалом, но покупает стеклянное пресс-папье и считает это «связью с прошлым». Мещанство чистейшей воды. А как они вступают в Братство? Это же комедия! Приходят к О'Брайену, высокому чину, и Уинстон, этот великий гуманист, радостно соглашается обливать детей кислотой, совершать теракты и предавать родину ради абстрактной организации, кото-

рую он в глаза не видел. То есть он готов стать точно таким же карателем Партии, только в другом профиле. У него нет морали, у него есть только ущемленное эго.

Александра Сергеевна легко, со сноровкой старого солдата, подтянула под себя крошечные ноги. Из-за разницы в росте ей приходилось смотреть на коллегу снизу вверх, но ментально она сейчас забивала его в доски причала, как гвоздь.

– А финал? Все плачут над комнатой 101. Ах, крысы! Ах, он закричал «Сделайте это с Джулией!» Да он мечтал это сказать! Оруэлл гениально показал изнанку так называемой человеческой любви. Как только цивилизованную тварь прижимает к стенке настоящий, первобытный страх, вся эта лакированная шелуха чувств слетает за доли секунды. Уинстон предал ее не потому, что Партия всесильна, а потому, что его собственная шкура для него дороже любой высшей идеи. Он пустой. И Партия не ломала его хребет, она просто слила воду из этого дырявого ведра. В конце он сидит в кафе «Под каштаном», пьет гнилой джин, смотрит на плакат Большого Брата и искренне его любит. И знаешь почему? Потому что подчиняться сапогу, который топчет твоё лицо – это самое комфортное состояние для человеческого мусора. Не надо думать, не надо выбирать. Тебя заполнили суррогатом, и ты счастлив.

Она замолчала, глядя на темнеющую воду, в которой отражались первые блеклые звезды. В ее огромных филологических глазах не было ни капли жалости – только бездонный, ледяной цинизм человека, который слишком хорошо изучил анатомию людской души по текстам, написанным великими идеалистами.

«Generation "П"», В. Пелевин

Вечерний свет, густой и тягучий, словно подсолнечное масло холодного отжима, медленно заливал депо пригородных электропоездов. Ржавые остовы старых вагонов, застывшие на тупиковых путях провинциального узла, казались скелетами допотопных левиафанов, выброшенных приливом истории на обочину бытия. Пахло мазутом, сыростью и прелой лебедой.

Александра Сергеевна Пушкина сидела на перевернутом деревянном ящике из-под тормозных колодок. Ее крошечные ножки в безупречных замшевых туфлях двадцать четвертого размера, не доставая до земли доброго полуметра, мерно покачивались в такт капли, срывающейся с прохудившейся крыши ангара. Девяносто сантиметров чистейшего, концентрированного филологического духа, укутанного в строгий кашемировый жакет, увенчанный массивным пучком седых волос, выглядели среди этого индустриального кладбища как забытый богами фарфоровый идол. Перед ней на корточках, виновато дымя дешевой сигаретой, застыл бывший ученик, а ныне местный путевой обходчик Васька Кривохулев.

– Послушай, Васенька, этот дивный, этот хрустальный реквием по ушедшей эпохе, – заговорила Александра Сергеевна, и голос ее, глубокий, бархатный, совершенно несоразмерный ее двадцати пяти килограммам плоти, поплыл над шпалами. – Подумай, какая метафизическая тоска разлита на страницах великого романа Виктора Олеговича Пелевина! «Generation „П“» – это ведь не просто хроника обрушения советского космоса. Это плач Иеремии над обломками Вавилона, воздвигнутого из грез обманутого поколения. Как тонко автор улавливает этот священный трепет перед пустотой, эту литургию уходящего света, где Вавилонская блудница Иштар простирает свои длани над несчастным Татарским! Какая сакральная геометрия духа, какой изысканный, почти эллинистический трагизм кроется в поисках вечного, нетленного смысла посреди неоновых джунглей зарождающегося хаоса...

В этот момент ржавая цистерна неподалеку глухо ухнула, выпуская остатки болотного газа, и Васька Кривохулев, вздрогнув, шумно сплюнул на рельс, раздавив в лепешку жирного слизняка.

Александра Сергеевна резко оборвала фразу. Глаза ее, еще секунду назад лучившиеся светом античной софистики, превратились в две холодные, как антарктический лед, щелочки. Она поправила манжеты.

– Господи, Василий, ну и мразь же твой слизняк, прямо как весь этот ваш рекламный пантеон, – сухо, с присвистом отчеканила она, мгновенно сбросив академический пафос. – Ладно, забудь про литургию. Давай снимем с этого текста штаны и посмотрим на то убожество, которое нам пытаются продать как «философию поколения». Знаешь, в чем главная трагедия Татарского? Не в Иштар. И не в кризисе самоидентификации. А в том, что Вава Татарский – это обыкновенный, канонический латентный алкоголик и интеллектуальный импотент, которому просто крупно повезло оказаться в дефиците коммерческого бреда.

Лилипутка оперлась крошечной ладонью о край ящика и подалась вперед – от этого ее фигура приобрела угрожающе-монолитный вид, а ее ментальная масса словно подавляла все депо.

– Все эти ваши культурологи, пишущие методички для университетов, слюнями исходят: «О, концепция симулякров! О, Бодрийяр на подтанцовках у буддизма!». Тьфу, дешевка. На самом деле Пелевин написал гениальную, беспощадную историю о тотальной лени русского интеллигента. Вавилон ведь ни хера не умеет. Он бросил Литинститут не потому, что СССР распался, а потому, что писать настоящие стихи – это адский, кровавый труд. Проще ведь пойти торговать в киоск к Гусейну, жрать мухоморы с мелким бесом Гиреевым и списывать свое ничтожество на «небытие». Посмотри, как этот так называемый креатор создает

свои шедевры. Он же не творит. Он садится, закидывается ЛСД или кокаином, ловит галлюцинации, а потом выдает свой бэд-трип за маркетинговый инсайт. Это не реклама, Василий. Это легализованный бред сумасшедшего, который подорожал только потому, что у бандитов в малиновых пиджаках не было Гугла, чтобы проверить, насколько их держат за лохов. Вся его «сверхзадача» – вписать пачку сигарет «Парламент» в контекст пушкинского «Памятника». Какое кощунство и какая, в сущности, расписочка в собственном бессилии!

Александра Сергеевна горько усмехнулась, и этот смех, прозвучавший из ее крошечного тела, показался Ваське раскатом грома.

– А финал? Боже мой, этот великий финал, где его делают мужем богини! Вы думаете, это духовное перерождение? Это апофеоз шкурничества и инфантилизма. Татарский всю дорогу бежал от ответственности. Сначала за страну, потом за свою работу, потом за собственные мысли. И, вуаля, мечта сбылась! Его превратили в 3D-модель. Он стал цифровым нулем. Его больше нет как личности, за него все решает компьютерная программа, а он и рад. Ему не надо делать выбор, не надо страдать, не надо быть человеком. Стать оцифрованным мужем Иштар – это просто самый дорогой в истории способ уйти на пенсию по инвалидности ума, чтобы тебя больше никто не трогал. Он не бога нашел, Василий. Он просто нашел идеальную корпоративную кормушку, где даже дышать за него будет софт. Пелевин показал нам не героя, а идеального раба нового типа, который счастлив от того, что его стерли.

Она замолчала, аккуратно спрыгнула с ящика, поправила складки юбки и посмотрела на Ваську Кривохулеву снизу вверх, но так, словно глядела на него с вершины Олимпа.

– И вот это ничтожество наши одиннадцатиклассники должны анализировать как «символ эпохи». Тьфу. Ладно, Василий, неси ведро. Пора подсыпать щебень под твои несчастные рельсы, раз уж в головах у вас один сплошной «Тампакс».

«Silentium!», Ф. Тютчев

Январский день в провинциальном городе N умирал долго и мучительно, истекая серым сиропом над старыми постройками. В кабинете русского языка и литературы, где воздух был густо замешан на запахе мокрой шерсти, дешевого дезодоранта и немых подростковых тел, царил полутьма. Девятый «Г» представлял собой удручающее зрелище: стайка девиц с нарисованными бровями коллективно листала рилсы под партами, а местный авторитет Колька Овнов тупо ковырял циркулем подоконник.

Из-за монументального дубового стола, на котором возвышалась стопка тетрадей, самой Александры Сергеевны Пушкиной видно не было. Наружу выступала лишь ее безупречно седая, уложенная волосок к волоску прическа. Наконец, послышался легкий шорох, и учительница села на специальный детский стул на высокой ножке.

Ее рост составлял ровно девяносто сантиметров. Маленькое пальто из дорогого драпа висело на вешалке, а сама она предстала в строгой блузе с жабо. Обладая телом трехлетнего ребенка, Александра Сергеевна имела лицо античной статуи и взгляд, способный колоть гранит. Она окинула класс взором Заслуженного учителя РФ и заговорила. Ее голос – густой, бархатный, невероятного мхатового тембра – полился, заполняя убогий класс духом ушедших веков.

– Послушайте меня, дети, – тихо, но так, что Овнов замер с циркулем, произнесла она. – Сегодня мы прикоснемся к святыне. Федор Иванович Тютчев. Великий провидец, чей дух парил над бездной человеческого бытия. Его «Silentium!» – это не просто стихотворение. Это сакральный гимн чистой, незамутненной человеческой душе. Поэт умоляет нас сблечь то хрупкое, волшебное, что рождается в наших глубинах. Задумайтесь, какая невыразимая нежность кроется в строках: «Лишь жить в себе самом уметь – есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум...» Это же призыв к великому духовному уединению! Тютчев понимал, что наш внутренний космос – как новорожденный младенец, он трепещет перед грубостью внешнего мира. Какое величие замысла, какая хрустальная, божественная чистота...

В этот момент Катя Доброплядова, сидевшая на первой парте, оглушительно, с присвистом зевнула и смачно втянула носом соплю, не вынимая наушника из правого уха.

Александра Сергеевна остановилась. Взгляд ее сузился до размеров бритвенного лезвия. Она медленно сползла с высокого стула, обогнула стол и подошла к партам. Оказавшись лицом к лицу с Доброплядовой, Пушкина снизу вверх посмотрела на нее с такой мощью, будто Доброплядова была инфузорией, а Александра Сергеевна – Господом Богом на Страшном суде. Ментальный масштаб маленькой женщины мгновенно расплющил класс.

– Доброплядова, – уже совершенно другим, сухим, скрипучим и леденящим тоном выдохнула Пушкина. – Вынь бананы из раковин. И вытри рыло. Сейчас я переведу этот дворянский манифест на понятный вашему дегенеративному племени язык.

Она заложила руки за спину и пошла вдоль первого ряда, едва возвышаясь макушкой над краем парт.

– Все эти ваши методички и учебники, написанные кастрированными методистами, поют про «чистую лирику». Чушь собачья. Тютчев написал гениальную инструкцию по выживанию матерого эгоиста и морального уродца, который просто не хочет отвечать за базар. Давайте препарируем этот шедевр.

Она резко повернулась на крошечных каблучках:

– «Мысль изреченная есть ложь». Вы вообще понимаете масштаб этого паскудства? Федор Иванович, будучи блестящим дипломатом и знатным ходяком по бабам, вывел идеальную формулу для оправдания любого скотства. Как только ты открываешь рот и говоришь жене: «Люблю», или другу: «Помогу» – ты автоматически врешь. А значит, можно вообще

ничего не делать! Не надо брать на себя обязательства. Зачем напрягаться, если любое оформленное вслух человеческое чувство – это брак и подделка?

Пушкина усмехнулась, и эта ухмылка на лице девяностосантиметровой женщины выглядела жутко.

– Идем дальше. «Взрывая, возмутишь ключи, – питайся ими – и молчи». Доброплядова, Овнов, это же гимн тотальному, клиническому аутизму и душевному паразитизму! Тютчев прямым текстом говорит: у тебя внутри быют чистые ключи чувств. Но не дай бог тебе поделиться этой водой с ближним. Не смей помогать, не смей сопереживать. Ешь в один хавальник. «Питайся ими». Сиди на своей ментальной помойке, жри свои «таинственно-волшебные думы» в одиночку, пока вокруг людидохнут от духовной жажды. Это манифест рафинированного эгоцентрика, который панически боится, что его душевный комфорт нарушит чужая беда. «Их оглушит наружный шум» – о боже, не кричите рядом с барином, у него от ваших реальных проблем мигрень начинается!

Александра Сергеевна остановилась посреди класса, задрала голову к потолку.

– Тютчев препарировал человеческую природу с цинизмом патологоанатома. Он знал, что человек в массе своей – глуп, завистлив и неспособен к эмпатии. «Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь?» Ответ – нет, конечно, не поймет! Потому что другому на тебя насрать, у него свои «ключи» в дефиците. И Тютчев предлагает гениальный выход: завали хлебало и любуйся собой. «Любуйся ими – и молчи». Не надо строить больницы, не надо спасать крепостных, не надо даже пытаться объясниться с любимой женщиной. Просто сиди, как сыч в дупле, и наяживай на собственную исключительность.

Она снова взобралась на свой кастомный стул, мгновенно вернув лицу выражение строгой интеллигентности. Класс сидел, не шевелясь. Колька Овнов даже забыл, где у него циркуль.

– Запишите домашнее задание, – мягко, как в первой фазе урока, пропела Александра Сергеевна. – Письменный анализ стихотворения. Попробуйте доказать мне, что эгоизм Тютчева был созидательным. Если, конечно, у вас хватит ума изречь хоть одну мысль, которая не окажется первозданной ложью. Урок окончен.

Она сошла со стула на пол и мгновенно полностью скрылась за столом, и только какой-то шорох напоминал о том, что в кабинете остался колосс.

«А зори здесь тихие», Борис Васильев

Дождь над рекой шел третий день, превращая пойменные луга в унылое, вспученное хлябью месиво. В сыром, пахнущем прелой ольхой воздухе висела та особенная, меланхолическая тишина, какая бывает в провинции лишь глубокой осенью. Тяжелые капли с монотонным стуком падали на брезентовый тент старой моторной лодки, приткнувшейся к размытому берегу.

Внутри лодки, на перевернутом деревянном ящике из-под патронов, сидела Александра Сергеевна Пушкина. Короткие ножки в резиновых сапожках двадцать четвертого размера не доставали до днища. Девяносто сантиметров чистой, концентрированной филологической ярости были облачены в безукоризненное, хотя и слегка промокшее драповое пальто, перешитое из подросткового конфекциона.

Рядом с ней, по-бабьи поджав колени, уныло сидел местный егерь Ибыкин, или просто Митрич, у которого заглох мотор. Он заворожено слушал, как эта крошечная женщина, Заслуженный учитель Российской Федерации, держала в крохотных фарфоровых пальцах томик Бориса Васильева.

– Посмотрите на этот пейзаж, Митрич, – выдохнула Александра Сергеевна, и голос ее, густой и бархатный, как у трагической актрисы старой школы, поплыл над туманной рекой. – Какая акварельная, щемящая чистота! Васильев написал не просто военную повесть, он создал реквием по несбывшемуся. Эти девочки – Женька Комелькова, Рита Осянина – это же чистейшие эманации славянского космоса, нимфы, брошенные в жернова хтонического ужаса. Какая сакральная жертвенность в каждом их вздохе, какое величие духа перед лицом небытия! Комелькова – богиня, Афродита в шинели, поющая над озером, чтобы увести смерть в сторону. Это абсолютный триумф духа над плотью, Митрич. Я плачу всякий раз, когда соприкасаюсь с этой великой инкарнацией русского Логоса...

В этот момент Ибыкин, шумно шмыгнув носом, полез в карман, вытащил засаленный кусок ливерной колбасы и с мерзким хлюпаньем вгрызся в него, вытирая жирные пальцы прямо о голенище сапога.

Александра Сергеевна замолчала. Ее огромные, навывкате, умные глаза сожгли егеря на месте. Пафос дематериализовался. Лицо лилипутки исказила гримаса такого леденящего цинизма, что Митрич едва не подавился колбасой.

– Господи, Ибыкин, какой же ты скот, – отчетливо и сухо произнесла Александра Сергеевна, мгновенно переходя на тон прожженного патологоанатома. – Впрочем, ладно. Чернь всегда хочет жрать. Прямо как те дуры в ситцевых трусах из повести, которых у нас принято канонизировать.

Она захлопнула книгу с сухим щелчком.

– Давай снимем эти розовые сопли с ушей, любезный, и препарируем текст, как он есть, а не как тебе втирал политрук в армии. «А зори здесь тихие» – это же идеальное, эталонное пособие по тому, как стадо клинических идиотов под руководством профнепригодного дегенерата задорно и бессмысленно самоубилось в карельских болотах.

Митрич замер, боясь жевать. Александра Сергеевна поправила сползающий воротник пальто, превосходя своего собеседника ментально настолько, что ее крошечный рост казался теперь оптической иллюзией.

– Давай начнем с Федота Евграфыча Васкова, – чеканила она, сверкая глазами. – Великий комендант разезда! Нам его подают как мудрого старшину, отца солдатам. А на деле? Мужуку за тридцать, а у него из достижений – четыре класса образования и зуд в ширинке от того, что девки вокруг него без штанов ходят. Приходит информация: в лесу два немецких диверсанта. Что делает этот тактический гений? Он берет пять девчонок, у которых из боевого опыта – только умение строиться на поверку, и прется в болота. Без рации, без нормального шанцевого

инструмента, без артиллерийской поддержки. Зачем? Чтобы проявить инициативу и получить очередную лычку. Чистый, незамутненный карьеризм на костях слабого пола.

Она ткнула маленьким пальцем в обложку.

– А когда выясняется, что немцев не два, а шестнадцать? Профессиональных, обученных фашистских амбалов-головорезов. Что должен сделать командир? Послать гонца назад и занять глухую оборону, благо местность позволяет. Кого он шлет? Лизу Бричкину, девку из лесного кордона, которая тайгу знает как свои пять пальцев! Решение вроде бы правильное. Но Васков, этот выдающийся психолог, не догадался, что девка просто одурела от гормонов. Она же бежала по болоту не приказ выполнять, а чтобы побыстрее к Васкову вернуться, потому что влюбилась в него, как корова в пастуха. В итоге – со страху и глупости утопла в жиже. Минус один боец из-за неверной кадровой политики руководства.

Александра Сергеевна ядовито усмехнулась, подтянув крошечные колени к подбородку.

– Дальше – Галя Четвертак. Сирота, фантазерка, забитое существо с вечным недотыком в башке. Зачем ты берешь ее в боевой дозор, Федот? Ей место на складе обмундирования, портянки пересчитывать! Она же в первом же столкновении ловит паническую атаку. И ее гибель – это не трагедия, это естественный отбор. Девка выбегает под пули с криком, потому что у нее нервная система в хлам развалилась. Васков просто использовал ее как пушечное мясо. А Соня Гурвич? Поэтессу на войну взяли. Пошла за кисетом старшины. Митрич, ты вдумайся в этот абсурд! Профессиональная еврейская комсомолка идет по лесу, где бродят диверсанты, чтобы принести командиру его вонючий табак, потому что без никотина у Федотки мозги не варят. И получает нож в грудь. Глупейшая, карикатурная смерть ради потакания вредным привычкам начальства.

Александра Сергеевна прошла по лавке лодки – ее шаги были короткими, но в них чувствовалась походка Бонапарта.

– И, наконец, наши главные примы. Женя Комелькова и Рита Осянина. Две бабы с поломанной личной жизнью. Осянина – молодая вдова, у которой вся мотивация – это сухая, выжженная месть. Она не воюет, она ищет, обо что бы красиво убиться, чтобы с покойным мужем воссоединиться. И Комелькова – генеральская дочка, нимфоманка на почве стресса, у которой немцы расстреляли семью. Она устраивает этот цирк с купанием в ледяной воде. Зачем? С точки зрения тактики – отвлечь врага. С точки зрения психоанализа – это чистый суицидальный эксгибиционизм. Ей хотелось умереть на миру, чтобы все видели, какую красоту теряют. В итоге Осянина стреляет себе в висок, потому что кишки наружу – а медицины, разумеется, никакой Васков не предусмотрел. А Комелькову расстреливают в кустах, как бешеную козлю.

Александра Сергеевна остановилась у самого носа лодки, возвышаясь над замершим егерем Ибыкиным. Ветер трепал ее седые волосы.

– И каков финал этого «шедевра»? Наш великий стратег Васков, потеряв сто процентов личного состава, берет в плен оставшихся полуживых немцев. И потом, спустя годы, приезжает на эти озера с сыном Осяниной – ставить мраморную плиту. Какое лицемерие! Он привозит сироту на место, где сам же, по собственной глупости и бабьему недосмотру, уложил его мать в землю. Васильев гениально показал главную русскую трагедию, Митрич. Трагедию того, как бабы, ведомые похотью, жалостью и дуростью, идут за никчемным мужиком-самодуром прямо в могилу. А мы потом учим детей, что это патриотизм. Это не патриотизм. Это тотальное, беспросветное отсутствие дисциплины и здравого смысла.

Она резко села обратно на ящик, расправила складки пальто и вновь посмотрела на реку. Взгляд ее мгновенно очистился от злобы, став снова глубоким, филологическим и бесконечно печальным.

– Но как же красиво написано, господи... Какой слог. Какая метафизика тоски. Дерни за шнур стартера, Митрич, у меня ноги затекли.

«А что у вас?», Михалков С. В.

Июньское солнце заливало улицу тем густым, янтарным блеском, какой случается лишь в провинциальных городах, застрявших во времени между эпохой развитого социализма и недостроенным капитализмом. Воздух над привокзальным рынком был неподвижен, напоен густым ароматом перезревших томатов, вонючей солянки и пыльной полыни. Посреди этого провинциального марева, по шершавому асфальту, медленно шествовала Александра Сергеевна Пушкина.

Ее фигура, едва достигавшая девяноста сантиметров от земли, обладала, однако, такой монументальной статью, что прохожие невольно расступались, словно перед крестным ходом. На ней было строгое парчовое платье цвета увядшей розы, а крошечную, двадцать четвертого размера ножку облегали безупречные кожаные туфли ручной работы.

В руке она держала плетеную кружевную сеточку, в которой покоились ее главные трофеи – свежий номер «Литературной газеты» и килограмм рубиновой черешни. Заслуженный учитель РФ двигалась к чугунному фонтану в сквере у ЗАГСа, чтобы в тени вековых лип предаться полуденному чтению.

У входа в сквер, густо заросшего лопухами, Александра Сергеевна остановилась, чтобы перевести дух. На деревянной лавке, лениво лущая семечки, сидел ее бывший ученик, а ныне – местный участковый, лейтенант Сережа Писецкий. При виде великой женщины он поспешно спрятал кулек и вытянулся во фрунт.

– Александра Сергеевна! Какими судьбами? – благоговейно пробасил он. – А я вот... дежурю. Дело было вечером, делать было нечего, как говорится.

Пушкина медленно подняла голову. Ее огромные темные глаза за стеклами роговых очков устремились на лейтенанта. В этих глазах светилась бездонная скорбь цивилизации.

– Какая удивительная, какая точная реминисценция, Сереженька, – тихо, но удивительно объемно, грудным контральто произнесла она. – Вы затронули струну, которая отзывается в моей душе священным трепетом. Поэма Сергея Владимировича Михалкова «А что у вас?» – это ведь не просто детское стихотворение из списка для внеклассного чтения второго класса. О, нет! Это великая, монументальная панорама предгрозового советского рая. Помните этот зачин? «Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел...» Это же чистейший Гомер! Это античный хор, застывший в священной праздности золотого века. Какая нежность в каждом слове, какая пасторальная чистота бытия, где дети, эти ангелы без страха и упрека, ведут свой неспешный, сократический диалог на закате дня...

Лейтенант Писецкий завороченно закивал, чувствуя, как по спине пробежали филологические мурашки. Ему показалось, что из привокзальных лопухов пахнуло ладаном и древнегреческой Одиссеей.

В этот момент из-за кустов с диким воплем выскочила стая голубей, напуганных проезжавшим мимо мусоровозом. Одна из птиц, не разбирая дороги, пролетела в сантиметре от фуражки участкового, шумно захлопав крыльями и обсыпав его китель сизой пылью. Писецкий рывкнул матом и наступил на лопух.

Александра Сергеевна даже не вздрогнула. Она лишь крепче перехватила сеточку с черешней, весившей ровно одну двадцать пятую часть от ее собственного веса. Взгляд ее мгновенно остекленел, превратившись в скальпель.

– Но если убрать этот благостный елей, Сережа, – резко, со свистом перешла она на сухой, беспощадный тон, – то этот текст – страшнейший анатомический атлас абсолютного человеческого убожества и ранней стадии экзистенциального гниения. Михалков, сам того не понимая, задокументировал парад детского эгоцентризма и латентной социопатии.

Участковый сглотнул и прирос к лавке.

– Посмотри на их так называемый «сократический диалог», – Пушкина сделала шаг вперед, ее крошечный зонтик-трость сухо стукнул по асфальту. – С чего начинается коммуникация этих малолетних дегенератов? С мелкого, подлого хвастовства. «А у меня в кармане гвоздь». Зачем ребенку в кармане гвоздь, Писецкий? С точки зрения девиантного поведения, это – готовый оружейный арсенал малолетнего садиста. Он его носит, чтобы кошкам глаза выкалывать или шины прокалывать. Но обществу он продает это как ценность.

Она презрительно фыркнула, поправив очки.

– Дальше – больше. Начинается соревнование дешевых амбиций. Один хвастается гостем – чистый паразитизм на чужом социальном статусе. Вторые выкатывают кошку, которая «родила вчера котят». И тут же – маркер абсолютной бытовой жестокости: «а есть из блюдца не хотят». Сережа, новорожденные котята физиологически не могут есть из блюдца в первый день! Их, слепых тварей, принуждают к труду, суют мордами в молоко, ломая психику животным. Это же чистый ГУЛАГ в масштабах одной коробки под кухонным столом!

Александра Сергеевна прошлась по дорожке, ментально возвышаясь над лейтенантом, словно исполин над пигмеем. Ее карликовый рост сейчас казался лишь концентрированной формой чистой, ядовитой мысли.

– Апофеоз этой коммунальной драмы – геополитический шовинизм сук из центрального административного округа. «А из нашего окна Площадь Красная видна». Ты слышишь этот неприкрытый классовый цинизм? Ребенок из номенклатурного дома у Кремля буквально затаптывает в грязь несчастную лимиту из окраинного барака: «А из вашего окошка только улица немножко». Это же сегрегация! Это расслоение общества, озвученное устами семилетних сытых тварей!

– Но там же про маму-пилота... – пролепетал Писецкий, пытаясь защитить детство.

– Про маму-пилота?! – Александра Сергеевна горько, страшно рассмеялась. – Это самый жуткий кастрирующий триггер советской поэзии! Посмотри на этот парад безответственного материнства. Одна улетела – «наша мама называется пилот». Ей плевать на детей, у нее план по налету часов. Другая – «вагоновожатый, водит два прицепа». То есть баба пашет на тяжелом производстве в ночную смену до Зацепы, пока ее отпрыск шляется по улицам с гвоздем в кармане! Третья – «портниха, кто трусы ребятам шьет?». Нищета, Сережа! Мать-одиночка в подвале строчит трусы из брезента, чтобы прокормить это неблагодарное стадо. И весь этот их спор – это не гордость за матерей. Это попытка компенсировать собственную никчемность через убогий суррогат чужого труда. Они меряются чужими профессиями, потому что сами – пустое место. Абсолютное, ленивое, тупое зеро, сидящее на лавке под девизом «делать было нечего». Литературный памятник тунеядству и духовному банкротству.

Пушкина замолчала. Она аккуратно поправила кружевную сеточку, достала одну спелую черешню, изящно отправила ее в рот и повернулась к лейтенанту спиной.

– Вот и у нас в городе, Сереженька, – бросила она через плечо, аккуратно выплюнув косточку в урну, – дело всегда вечером, делать всегда нечего, а из вашего окошка – только улица немножко. И та невзрачная. Воспитывайте в себе критическое мышление, Писецкий. Иначе так и просидите на лавке до пенсии, с гвоздем в кармане.

Она величественно удалилась в глубь аллеи. Лейтенант Писецкий остался сидеть, боясь пошевелиться. Ему казалось, что великая русская литература только что совершила над ним акт необратимого интеллектуального насилия.

«Аленький цветочек», С. Аксаков

Окрестности провинциального Н-ска в середине июня утопали в таком густом полуденном мареве, что даже вековые сосны у старого песчаного карьера казались отлитыми из тяжелого, тусклого воска. Воздух, напоенный смолистым дыханием хвойной глуши и горьковатым ароматом цветущей полыни, неподвижно стоял над обрывом, где на перевернутом эмалированном ведре, некогда служившем для водопойных нужд, восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Ее крошечные туфли двадцать четвертого размера едва касались золотистого песка, но в осанке этой девяностосантиметровой женщины, увенчанной безупречным седым шиньоном, угадывалась монументальность римского сенатора.

Заслуженный учитель РФ держала в тонких, сухих пальцах длинный мундштук, и дым от крепкой сигареты поднимался к небу идеальными, филологически выверенными спиралями. Рядом, на старом пледе, растянулся тридцатилетний учитель физкультуры Олег Хувёртов – добродушный гигант, привезший свою коллегу на карьер половить карасей.

– Вы только вслушайтесь в эту звукопись, Олеженька, – негромко, но до глубин души отчетливо произнесла Александра Сергеевна, глядя, как солнце дробится в мутной воде карьера. – «Аленький цветочек, какого бы ни было краше на белом свете». Какая кристальная, подлинно славянофильская нега разлита в каждом слове Аксакова! Какое благочестие, какая сакральная тишина допетровской Руси! Это же не просто сказка для второго класса, мой мальчик. Это гимн христианской метафизике, триумф чистой, жертвенной любви, способной разглядеть божественную искру под личиной самого ужасного чудовища. Младшая дочь, ангел во плоти, добровольно идет на заклятие ради спасения отца... Я каждый раз, открывая эту книгу, плачу от избытка прекрасного. Земля русская держится на таких праведниках, Олеженька.

В этот момент поплавок на удочке Хувёртова резко дернулся, ушел под воду, но физкультурник, замороженный речью маленькой женщины, зацепил ногой банку с червями. Банка с противным шлепком покатила по склону, рассыпая жирную землю.

Александра Сергеевна плавно перевела взгляд с горизонта на уползающего в песок дождевого червя. Глаза ее, минуту назад светившиеся преображенным светом, мгновенно сузились, превратившись в две ледяные щелки. Она затаилась, сплюнула крупцу табака прямо на пролетавшего мимо шмеля и глухо, с хрипотцой, заговорила совсем другим голосом:

– Впрочем, если убрать этот елейный аксаковский пафос для благородных девиц, мы имеем классический кейс по криминальной психологии и семейному абьюзу. Тьфу, мерзость какая.

Олег замер с открытым ртом, боясь пошевелиться. Двадцать пять килограммов чистой филологической ярости сошли с эмалированного ведра и начали мерить шагами пятачок земли.

– Давай разберем эту богоугодную семейку по косточкам, – чеканила Александра Сергеевна, и ее крошечная тень казалась огромной на песчаном склоне. – Старшие сестры, которых принято считать стервами, на самом деле – единственные вменяемые люди в этом сумасшедшем доме. Что они просят у папаши-купца? Золотой венец и хрустальный туалетный гарнитур. Прагматично? Да. Зато честно и рыночно. Девки хотят замуж, им нужен капитал и товарный вид. А что просит наша «праведница» Настенька? Аленький цветочек, которого «краше нет».

Александра Сергеевна цинично хохотнула, и этот звук заставил смолкнуть даже цикад.

– Это же чистой воды пассивная агрессия и духовный нарциссизм, Олеженька! Настя у нас не такая, как все, Настя выше земных благ, она желает эксклюзива, невиданного в природе. Она сознательно ставит отца в положение, когда он расшибется в лепешку, но докажет, что любит младшенькую больше. И старый дурак претя в чужие владения, занимается меж-

дународным браконьерством, ворует редкую флору с охраняемой территории и натывается на хозяина.

Она остановилась, ткнув мундштуком в сторону Олега Хувертова.

– И как реагирует наш «любящий отец», когда Чудище ловит его на краже со взломом? Он спасает свою шкуру! Этот коммерсант первой гильдии без тени сомнения продает собственную дочь в сексуальное рабство мохнатому олигарху в обмен на списание долгов и сохранение жизни. «Иди, доченька, выручай папу, ты же у нас цветочки любишь». Дома он устраивает театральный плач, манипулирует ее чувством вины, пока девка сама не собирает чемодан.

Александра Сергеевна сделала паузу, жадно вдохнув горячий воздух. Могучий физкультурник сжался, чувствуя себя первоклассником.

– Но самый цинизм начинается в замке, – продолжила она, хищно улыбаясь. – Настеньку селят в золотые палаты, кормят на убой, заваливают шмотками. Чудище включает классический дедовский «сахарный шоурум». И наша бессребреница моментально плывет от тяжелого люкса! Текст помнишь? Она гуляет по садам, жрет деликатесы и пишет чудовищу ласковые записочки. Ей абсолютно плевать, что хозяин дворца – одинокий, глубоко травмированный инвалид с тяжелым уродством. Ей комфортно. Это чистый, незамутненный стокгольмский синдром, помноженный на безудержное потребление.

Учительница подошла к краю обрыва, легко, словно птица, балансируя на своих крошечных ножках. Физически она была меньше любого из учеников младших классов, но сейчас от нее веяло такой сокрушительной интеллектуальной силой, что Олегу казалось, будто перед ним стоит гигант.

– А финал? Финал – это же апофеоз бабьего эгоцентризма и глупости. Настенька возвращается домой «на побывку». Сестры переводят стрелки часов – и, заметь, делают это не от злобы, а из инстинкта самосохранения: они не хотят, чтобы сестрица возвращалась к лесному маньяку. Настя опаздывает. Приезжает – а Чудище лежитдохлое у фонтана. И тут у нее включается истерика. Она орет: «Встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!»

Александра Сергеевна швырнула окурок в воду. Тот с шипением погас.

– И вот тут происходит страшное. Чудище превращается в слашавого принца. И что мы видим в подтексте? Аксаков заставляет нас думать, будто это хеппи-энд. Черта с два! Настенька-то полюбила его волосатым, богатым и загадочным. Она построила в своей голове удобную иллюзию, приручила зверя, стала хозяйкой его одиночества и его слабостей. А теперь перед ней стоит обычный, среднестатистический мажор в парчовом кафтане. Чудо исчезло. Дальше – бытовуха, деление купленного на наворованные деньги имущества и неизбежный развод через два года из-за того, что принц начнет пить от депрессии, вспоминать свои лесные угодья и тосковать по былой свободе. Вот тебе и «аленький цветочек», Олеженька. Сказка о том, как девичьи капризы, отцовская трусость и бабло ломают психику несчастному лесному мутанту.

Александра Сергеевна замолчала. Она аккуратно поправила шиньон, расправила складки своей строгой юбки и снова превратилась в хрупкую фарфоровую статуэтку.

– Ну, что ты сидишь, как соляной столб? – мягко, с прежней интеллигентной полуулыбкой спросила она физкультурника. – Черви твои расплозились, а поплавок, кажется, снова ушел на дно. Вытаскивай, голубчик. Надеюсь, улов будет более осмысленным, чем карьера Настенькиного мужа.

«Алеша, Илья и Добрыня», русская былина

Мартовское солнце лениво скользило по кафельному полу городского судебно-медицинского морга, где Александра Сергеевна Пушкина забирала справку о смерти своей троюродной сестры. Воздух здесь был густым, пахнувшим формалином и неизбежностью, но Заслуженный учитель РФ, казалось, не замечала прозаической сырости учреждения. Напротив, она стояла перед массивным столом дежурного патологоанатома, Павла Петровича Ибатейко, уподобляясь крошечному, но грозному монументу чистой мысли.

Ее рост составлял ровно девяносто сантиметров, а вес едва достигал двадцати пяти килограммов, отчего зимнее пальто из тяжелого драпа сидело на ней как парадная мантия карликового императора. Но филологический ум Александры Сергеевны, ее колоссальный ментальный масштаб, точно колокол, заполнял это мрачное пространство, заставляя грузного врача инстинктивно втягивать голову в плечи.

– Вы только вслушайтесь в эту музыку, батюшка, – произнесла она серебряным, напевным голосом, глядя куда-то поверх кафельных стен, вглубь веков. – Былина в пересказе Нечаяева – это же чистый, незамутненный хрусталь нашей национальной идентичности. Какая монументальная панорама! Слава что катится, словно река в половодье, связуя Чернигов, Киев и Великий Новгород. Это величавое триединство духа, где старый казак Илья – олицетворение народной мудрости, Добрыня – явленная миру дипломатия и обходительность, а юный Алеша – чистый порыв, дерзкая ухватка молодости, спасающая стольный град. Какое трепетное отношение к ритуалу! Выпивают чару в полтора ведра за единый дух и братаются, целуясь трижды под звон-трезвон. Это же апофеоз соборности, триумф над басурманской ратью-силою, гимн бескорыстному служению отчизне, где воин отказывается от золота и деревень ради заставы богатырской! Это ли не святая правда нашей земли?..

В этот момент тишину морга нарушил глухой, сочный треск. Молодой санитар в углу, неловко повернувшись, наступил на пластиковый контейнер для биологических отходов. Раздался резкий хлюпающий звук.

Александра Сергеевна осеклась. Ее безупречно подведенные брови на мгновение дрогнули. Она медленно повернула голову, и в ее глазах, секунду назад лучившихся филологическим экстазом, зажегся холодный, бритвенно-острый огонь абсолютного, выжженного цинизма. Она посмотрела на санитаря, затем на Павла Петровича Ибатейко, и ее голос мгновенно упал на две октавы, утратив всякую напевность.

– Хотя кому я это вру? Какая, к черту, соборность, – сухо отчеканила Пушкина, поправляя крошечную перчатку. – Если содрать с этого текста сусальное золото, перед нами откроется классическая история о корпоративном буллинге, управленческом кризисе и трех глубоко девиантных субъектах, которым место не на заставе, а в вашем прозекторском отделении, Павел Петрович. Давайте препарируем этот цирк.

Она оперлась ладонью о край стола, снизу вверх уничтожая доктора взглядом.

– Начнем с топ-менеджмента. Князь Владимир – абсолютно бесхребетный трус и самодур. Пацан Алеша в одиночку размотал «рать-силу несметную», очистил трассу, спас офис, то бишь Киев. Что делает генеральный директор Владимир? Он его даже на корпоратив не зовет. Обиделся Алешенька? Разумеется. И тут на сцену выходит Илья Муромец. Старый казак, говорите? Обыкновенный профсоюзный авторитет на пенсии, который чувствует, что молодежь ущемляют, а значит – падает авторитет всей их силовой структуры. Илья заваливается к Владимиру в кабинет и включает откровенный шантаж: «Ты, князь, не одного Алешу обидел, а всю нашу ОПГ богатырскую. Быстро накрывай поляну, выписывай премии, иначе работать некому будет».

Патологоанатом Ибатеико аккуратно отложил ручку, боясь пошевелиться. Девяностосантиметровая Александра Сергеевна ментально возвышалась над ним, как Эверест.

– Владимир тут же дает заднюю, – продолжала она, цинично ухмыляясь. – Но сам идти мириться боится. Кого посылают? Добрыню. «Он многоучен да обходительный». Перевожу на русский: Добрыня у них – штатный кадровик и терпила, умеющий заговаривать зубы обиженным сотрудникам. Он едет в Ростов, дважды бьет чело́м перед пацаном, козыряет авторитетом Илюхи. И Алеша, который только что строил из себя гордого независимого фрилансера, моментально ломается. Гордость? Нет, обычное тщеславие. «Раз сам Илюха зовет – ладно, еду». И как они въезжают в Киев? По-человечески, через КПП? Нет. Они скачут через стены городовые. Это же чистый экстремизм и хулиганство! Три вооруженных амбала ломают городскую инфраструктуру просто ради эффектного появления.

Александра Сергеевна прошла вдоль стола, ее шаги были едва слышны, но весили тонну.

– А теперь финал этого бенефиса лицемерия. На пиру им выкатывают чары по полтора ведра «зелена вина». Вы понимаете объем, Павел Петрович? Полтора ведра алкоголя в одно рыло за единый дух! Это не богатыри, это три клинических алкоголика в терминальной стадии. Разумеется, накрывает их мгновенно. После полутора ведер они тут же «побратались и три раза поцеловались» – классическая пьяная эйфория с размытием личных границ. И тут Владимир, перепуганный видом трех нетрезвых машин убийства, начинает швыряться бюджетом: нате вам города, нате села, нате золотую казну! И вот тут Алеша выдает якобы «благородный» отказ.

Пушкина остановилась и горько, хрипло рассмеялась.

– «Мне не надо города с пригородками, отдайте дружине». Боже, какая дешевая популистская демагогия! Зачем Алеше юридическая ответственность за дотационный регион? Зачем ему геморрой с налогами, приселками, ЖКХ и сервитутами? Ему, профессиональному наемнику, нужен кэш и полный ангажемент. И он прямым текстом заявляет: «Позволь нам безданно-беспошлинно погулять-повеселиться в Киеве». Перевожу: дай нам, князь, полный иммунитет от правоохранительных органов, карт-бланш на мародерство и бесплатные кабаки, чтобы «звон-трезвон» стоял. А за это мы так и быть, посидим на заставе. И венчает этот бред финальный штрих: «Алешенька прихлопнул рукой да притопнул ногой: Эхма! Не тужи, кума!». Пьяное, разнузданное животное, дорвавшееся до бесплатного бара и безнаказанности. Вот вам и внеклассное чтение для второго класса, батюшка. Хрестоматия шкурного интереса и алкогольного психоза под видом патриотического эпоса.

Александра Сергеевна замолчала, мгновенно вернув лицу выражение безупречной великосветской любезности. Она аккуратно взяла со стола справку о смерти, спрятала ее в крошечную сумочку и кивнула онемевшему доктору.

– Всего вам доброго, Павел Петрович. Берегите печень. Она у нас одна, в отличие от богатырских иллюзий.

«Алые паруса», А. Грин

Октябрь выползал на серые мостовые N-ска липким, простуженным туманом, превращая пригородные пустыри в подобие левитановских пейзажей, исполненных тихой, щемящей грусти. В кабинете русского языка и литературы, где воздух был густо настоян на запахе мокрой шерсти, едкой хлорки и неизбежного подросткового уныния, царило благоговейное оцепенение.

За безбрежным массивом двухтумбового дубового стола, на своем специальном высоком стуле, сидела маленькая, но безупречно прямая фигура, едва видная за высокой подставкой для канцелярии. Девяносто сантиметров чистейшего, концентрированного академизма, увенчанного седой, канонически уложенной буклями прической. Александра Сергеевна Пушкина замерла, прижав к кружевному жабо крошечную, сухую ладонь. Глаза ее, огромные и влажные, смотрели поверх вихров и макушек седьмого «Г» – туда, где сквозь мутные оконные стекла угадывался силуэт пивного ларька, казавшийся в этот миг очертаниями сказочного галеона.

– Текст Александра Грина, ангелы мои, – пропела она бархатным фаготом, заставившим вздрогнуть даже закоренелого второгодника Ерьмохина, – это не просто проза. Это хрустальный купол, воздвигнутый над грязью земного бытия. Симфония чистейшей, незамутненной романтики, где каждый слог дышит весенним приливом, а море поет о несбыточном. Вслушайтесь в этот трепет утренней зари, в этот великий, сакральный миф о верности мечте, пронесенной сквозь убожество Каперны! Какая хрупкость духа, какое религиозное по своей сути ожидание чуда...

В этот момент на задней парте Ерьмохин громко, с наслаждением шмыгнул носом и зачем-то полез в карман за вейпом.

Маленькая женщина не шелохнулась. Лишь левый глаз ее едва заметно сузился, а холерный, лилипутский указательный палец с идеальным маникюром опустился на раскрытый томик.

– Короче, Ерьмохин, засунь свой свисток себе в анналы и слушай сюда, пока я жива, – бархатное контральто мгновенно превратилось в сухой, режущий скальпель. – Давайте снимем с этой повести розовые сопли и препарируем то, что ваш любимый романтик Грин закопал в анамнезе этих двух клинических дегенератов.

Класс замер. Ерьмохин застыл с открытым ртом.

– Открываем первую главу, – Александра Сергеевна легко вскочила на стул, чтобы ее было видно из-за исполинского стола, и ее ментальная тень, казалось, накрыла весь кабинет до самого потолка. – Нам рисуют Ассоль как возвышенную мученицу. На деле же перед нами классический пример запущенного психоза на почве социальной изоляции. Папаша Лонгрэн – старый, озлобленный социопат, отсидевший внутри своей раковины и устроивший односельчанину Меннерсу показательный гидроцид из холодной, застарелой мести. Он обрек человека на смерть, отказав в помощи. Весь поселок справедливо считает его маньяком. Дочка растет в атмосфере тотального бойкота. И что делает девица вместо того, чтобы пойти на биржу труда или хотя бы научиться шить? Она ловит в лесу старого дегенерата Эгля – бродячего собирателя фольклора, читай: вокзального бомжа с шизофренией – и принимает его пьяный бред за руководство к действию. «Приплывет принц на красных тряпках». Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Девочка садится на берегу и начинает профессионально аутировать, полностью выключив критическое мышление.

Она прошла по сиденью стула, ни на миллиметр не теряя королевской осанки, удерживая равновесие с грацией старого канатоходца.

– Теперь смотрим на контрагента. Артур Грей. Учебники мажут его елеем: «благородный юноша, бросивший замок ради моря». Перевожу на русский: избалованный, мажорный пси-

хопат с синдромом дефицита внимания. Родился с золотой ложкой в заднице, в гробу видал системный труд. Папенька с маменькой дули ему в пупок, пока мальчик не решил поиграть в пирата. Купил на родительские деньги корабль «Секрет» – заметьте, не заработал мозолями на палубе, а тупо получил папино наследство. И вот этот инфантильный бездельник со скуки шляется по побережью и натывается в кустах на спящую Ассоль.

Александра Сергеевна брезгливо перевернула страницу кончиком карандаша.

– Нормальный мужчина, увидев в лесу спящую среди бела дня бедную девушку, попытался бы узнать, не случился ли с ней инсульт. Что делает наш благородный Артур? Он снимает со своего грязного пальца дорогое кольцо и натягивает ей на безымянный палец. Это же чистой воды фетишизм и криминальные наклонности, Ерьмохин! Он маркирует ее как свою собственность, даже не спросив имени. Дальше – больше. Приходит в кабак, узнает от местных, что девка «с приветом», и вместо того, чтобы бежать в ужасе, его воспаленный эгоцентризм взрывается фейерверком. «Она сумасшедшая, я придурок – мы созданы друг для друга!».

Учительница спрыгнула со стула на пол. Стук ее крошечных каблучков прозвучал как выстрел. Она подошла к первой парте, снизу вверх глядя на отличницу Машу Сосискину, которая от ужаса перестала дышать.

– И вот финал, от которого все рыдают. Грей скупает в лавке две тысячи аршин алого репса. Вы представляете себе этот цинизм? Торговец, небось, решил, что чувак открывает публичный дом. Грей шьет паруса и прется в Каперну. Зачем? Ради любви? Нет, ангелы мои. Ради грандиозного, нарциссического шоу. Ему нужно было умыть всю деревню, доказать свою божественную суть толпе рыбаков, которые на него плевать хотели. Он устраивает дешевый перформанс с оркестром цыган на борту. И несчастная, ментально искалеченная Ассоль, заведя этот филиал китайского цирка, бежит в воду, теряя тапки.

Александра Сергеевна горько усмехнулась.

– Грин написал страшную трагедию о том, как два абсолютно неприспособленных к реальности нарцисса нашли друг друга, чтобы взаимно уничтожить остатки здравого смысла. Вы думаете, у них хеппи-энд? Через неделю этот алый шелк полиняет от соленой воды. Грей поймет, что притащил на корабль молчаливую куклу, которая умеет только смотреть вдаль и разговаривать с чайками. А Ассоль обнаружит, что капитан – истерик, живущий на субсидии богатой мамочки, склонный к запоям и театральным эффектам. Они сожрут друг друга в первой же каюте от банальной бытовой скуки.

Она замолчала, поправила жабо и снова посмотрела на класс своими бездонными, полными священного трепета глазами. Октябрьский туман за окном сгустился, превращаясь в сумерки.

– Но каков язык, господа... Какая метафора чистой, незащищенной души, алчущей идеала в мире, где даже паруса нужно покупать за наличные. Дома – эссе на тему «Эгоизм как двигатель романтического сюжета». Ерьмохин, если в твоём тексте будет хоть одна орфографическая ошибка, я лично сделаю так, что твои паруса станут багровыми от стыда. Все свободны.

«Анна Каренина», Л. Толстой

Педагогический совет в конце четверти увязал в духоте кабинета директора, словно муха в прокисшем варенье. За окном расстился типичный пейзаж нашего богоспасаемого провинциального города N: облупившийся фасад старого многоквартирного дома, кривая береза и три грации из 10-го «Г», распивающие за трансформаторной будкой баночный коктейль. Директор, грузный мужчина с одышкой, монотонно зачитывал показатели успеваемости.

Вдруг шторы колыхнулись. На высоком стуле-трансформере, специально сконструированном учителем труда, зашевелилась Александра Сергеевна Пушкина. При росте в девяносто сантиметров и весе упитанного кокер-спаниеля она обладала статью византийской императрицы. Заслуженный учитель РФ, чья крошечная ладонь держала в страхе даже местных криминальных авторитетов, отпрыски которых имели несчастье учиться в ее классе, поправила безупречный шиньон. Глаза ее, полные колоссального филологического ума, устремились в пространство.

– Коллеги, – раздался ее голос, чистый и глубокий, точно колокол, совершенно не вязавшийся с ее кукольным телом. – Вы говорите о баллах. Но думаете ли вы о душе? Сейчас, когда десятый класс прикоснулся к величайшему монументу русской мысли – роману «Анна Каренина»... О, этот благословенный Лев Николаевич! Какая симфония чувств, какое кружево человеческих судеб, сотканное из тончайших нитей дворянского духа!

Завуч по воспитательной работе умиленно вздохнула. Директор замер.

– Это же гимн абсолютной, всепоглощающей страсти, – продолжала Александра Сергеевна, и в ее глазах заблестели искренние, чистые слезы трепета перед искусством. – Как филигранно Толстой исследует трагедию чистой души, зажатой в тиски лицемерного светского общества! Анна – этот незащищенный, нежный цветок, брошенный под колеса бездушного сословного механизма. Ее любовь к Вронскому – бунт против мертвечины, полет Икара к солнцу истины...

В этот момент за окном раздался оглушительный, утробный хохот. Одна из девиц у трансформаторной будки, двухметровая шпала с характерной фамилией Лядовская, громко выругалась матом, не поделив с подружкой сигарету.

Александра Сергеевна на секунду замолчала. Глаза ее сузились до размеров игольного ушка. Возвышенный дух девятнадцатого века испарился, уступив место ледяному, хирургическому реализму.

– Господи, какие же вы все-таки идиоты, включая министерских методистов, – ровным, звенящим от презрения тоном произнесла Пушкина, глядя на застывший педсовет. – На уроках литературы детям врут с тем же упоением, что и на уроках истории. Цветок? Полет Икара? Да у Анны Карениной был банальный, запущенный психоз на почве абсолютного, терминального безделья. Вы текст-то открывали, придурки, или только краткое содержание в интернетах по диагонали мазали?

Она легко, одним движением, соскочила со своего гигантского стула. На секунду показалось комичным, как эта крошечная женщина в строгом английском костюме делает шаг вперед, но когда она заговорила, ее ментальный масштаб мгновенно раздавил присутствующих, заставив директора втянуть голову в плечи.

– Давайте препарируем эту вашу «великую трагедию» без соплей, – отчеканила Александра Сергеевна. – Что делает Каренина весь роман? Страдает? Нет, она мается херней. У бабы в девятнадцатом веке – абсолютный бытовой коммунизм. Ей не надо мыть полы, готовить, стирать пододеяльники или стоять в очереди за минтаем. У нее куча слуг, нянек, денег и свободного времени. И вместо того, чтобы занять свой крошечный мозг хоть чем-то полезным

– ну, не знаю, вышиванием, изучением языков или благотворительностью, как делали умные женщины ее круга, – она решает поиграть в роковую женщину.

Пушкина прошлась по кабинету, стуча крошечными каблучками.

– Вы посмотрите на ее мотивы! Она ведь Вронского не любила. Она любила свое отражение в его обожании. Как только Вронский, который, к слову, вел себя как нормальный, вменяемый мужик – покупал ей дома, терпел ее истерики, пытался заниматься хозяйством и политикой, – как только он отвлекся на реальную жизнь, у нашей Анечки начался абстинентный синдром. Ей потребовалась доза драмы. Обратите внимание на деталь, которую все упускают: Толстой прямым текстом пишет, что в финале она плотно сидит на опиуме! Банальная наркоманка с потекшей крышей, которая жрет морфий лошадиными дозами и ловит галлюцинации про «мохнатого уродца».

Александра Сергеевна остановилась у стола директора и снизу вверх посмотрела на него так, будто он был нашкодившим первоклассником.

– А финал? Это же вершина эгоизма и манипуляции! Абсолютное, эталонное самоуничтожение ради того, чтобы «наказать» мужика. «Я умру, и он заплачет, и ему будет стыдно!» – вот ее реальная цитата, ее мысль перед прыжком! Она не от горя под поезд прыгнула, а чтобы Вронскому всю оставшуюся жизнь испоганить. Загадить ему карьеру, психику и совесть. Чистой воды абьюз и домашний терроризм, завернутый в обертку из кружев и бального газа.

Александра Сергеевна тонко, едва заметно улыбнулась, заметив, что наживка высшего филологического цинизма заглочена присутствующими окончательно.

– И этот Константин Левин туда же – со своим кошением травы. Мужик страдает экзистенциальным кризисом от того, что у него слишком много земли и крестьян. Попробовал бы он пожить на одну зарплату учителя общеобразовательной школы, я бы посмотрела, как быстро у него прошла тяга к единению с почвой. Наш дорогой граф Толстой пытался слепить из Константина Левина идеальное альтер-эго, образец духовного поиска. А получился клинический портрет богатого невротика со средних широт.

Она сцепила крошечные пальцы в замок и опустила на них подбородок.

– Вы вспомните эту сцену с косьбой, которой так умиляются в педвузах. Барин, испытывая острый приступ стыда перед народом, берет в руки косу. Сорок мужиков, которые с пяти утра в мыле херачат на поле ради куска хлеба, вынуждены плестись за этим коротконогим недоразумением в чистой рубахе. Они косят аккуратно, чтобы, упаси бог, не подрезать пятки его сиятельству, который развлекается «слиянием с почвой». Для мужиков это адский, калечащий труд. Для Левина – фитнес, модный детокс и сеанс психотерапии. Ему, видите ли, полегчало! Физический труд, говорят литературоведы, возвысил его дух. Да он просто задолбался за день так, что у него временно отключилась рефлексия!

Пушкина презрительно фыркнула, отчего ее шиньон чуть качнулся.

– А его женитьба на Кити? Это же чистая комедия абсурда. Человек годами выносит мозг себе и окружающим, пишет мелом на столе дурацкие аббревиатуры, как прыщавый тинейджер в подъезде. А став мужем, в первую же брачную ночь подсовывает девятнадцатилетней девочке свои интимные дневники, где подробно расписаны все его пьянки, сифилисы и связи с дворовыми девками. Зачем? «Ах, я хочу быть честным!» Да плевать он хотел на ее чувства! Это обычное перекладывание ответственности. Он свою совесть облегчил, говно на нее вывалил, а девка потом всю ночь в подушку рыдает. Зато Левин ходит сияющий – он очистился!

В кабинете стояла гробовая тишина. Слышно было, как на улице Лядовская пытается зажечь зажигалку.

– Так что, коллеги, – Александра Сергеевна снова изящно взобралась на свой огромный стул, поправила складки юбки и вновь обрела выражение безупречной интеллигентности. – Десятому классу я так и объясню: роман учит нас тому, что праздность рождает чудовищ, а

психопатов нужно лечить вовремя, до того, как они доберутся до железнодорожных путей.
Вопросы по повестке дня имеются?

Вопросов не было.

«Архипелаг ГУЛАГ», А. Солженицын

Вечерний туман, густой и липкий, словно пар над чаном со свежесваренным вареньем, медленно наползал на ржавые гаражные кооперативы окраины. Небо над районом наливалось тяжелым, свинцовым колером, в котором тонули крики запоздалых ворон и далекий хрип маневрового тепловоза.

Александра Сергеевна Пушкина сидела на перевернутом пластиковом ящике из-под хурмы прямо посреди заросшего бурьяном пустыря, где местные мужики обычно выгуливали злых собак и пили дешевый портвейн. В ее крошечных, размером с детские, ладонях покоился термос с заваренным шиповником.

Сама она, втиснутая в безупречное английское пальто детского размера, казалась случайным осколком погибшей цивилизации, аммонитом Серебряного века, заброшенным в мезозой провинциального пустыря. Девяносто сантиметров чистейшего, концентрированного филологического ума, увенчанного седой профессорской кубышкой.

Рядом, на корточках, тяжело дышал завхоз Писенко, или просто Палыч, помогавший Александре Сергеевне дотащить до гаража связки макулатуры.

– Какая великая, искупительная мистерия духа, Палыч, – тихо, но с глубоким, вибрирующим пафосом произнесла Александра Сергеевна, глядя на гаснущую зарю. Ее голос, бархатный и неожиданно густой, заставил Писенко вздрогнуть. – Подумайте только, какой титанический симфонизм скорби заключен в этих страницах! Александр Исаевич создал не просто историческую хронологию, нет. «Архипелаг ГУЛАГ» – это грандиозное литургическое полотно, где каждая глава – как удар колокола по усопшей праведности. Это песнь о русском Иове, превозмогающем ледяной ад ради крупницы метафизической свободы. Текст дышит библейским масштабом, это плач Иеремии на советских нарах, где страдание очищает душу от скверны земного бытия, вознося ее к горнему свету...

Завхоз понимающе кивнул и полез в карман за сигаретой, но случайно выронил зажигалку прямо в лужу. Щелкнуло колесико, выдав лишь мокрую искру. Палыч грязно выругался на весь пустырь.

Александра Сергеевна медленно повернула к нему свою крупную, величественную голову. На ее лице, покрытом благородными морщинами, заиграла улыбка такой леденящей, абсолютной трезвости, что Писенко поспешно спрятал руки в карманы.

– Сдохла кобыла, Палыч? Вот и великий очистительный дух Исаича так же сдох, едва столкнувшись с банальной человеческой природой, – ее голос мгновенно утратил библейский объем, превратившись в сухой, бритвенно-острый скальпель. – Одиннадцатиклассники мои от этой книги воют, думают – там про подвиг. А там, Палыч, если снять шелуху протопоп-аввакумовского пафоса, написана главная этнографическая правда: «*homino sapiens*» готов жрать говно ведрами, лишь бы у соседа ведро было чуть поглубже.

Она сделала глоток из термоса, изящно оттопырив мизинец, на котором блестело крошечное кольцо Заслуженного учителя.

– Вы вообще эту хрестоматию эгоцентризма читали? Все привыкли видеть там трагедию мучеников. Чушь собачья. «Архипелаг» – это доскональное анатомическое описание того, как русская интеллигенция, мнившая себя совестью нации, при первом же шухере превратилась в суетливое стадо крыс. Почитайте внимательно первую часть, главу об арестах. О чем там плачет автор? О растоптанных идеалах свободы? О расстрелянных крестьянах? Черта с два! Он тридцать страниц исходит на говно от обиды, что его, целого капитана артиллерии, великого барина со служебным ординарцем, везли в Москву под конвоем как обычное быдло! Его это ущемили, Палыч. Ему обидно, что у него погоны сорвали. Вся трагедия первых глав сводится

к экзистенциальному воплю: «Меня-то за что?! Я же свой, я же марксист, я Ленина цитировал, вон тех немых работяг расстреливайте, а меня верните в офицерский блиндаж к пайку!»

Александра Сергеевна легко спрыгнула с ящика. Ее туфельки 24-го размера четко отпечатались в мягкой грязи пустыря. Физически она едва доставала Палычу до пояса, но сейчас завхозу казалось, что эта маленькая женщина возвышается над ним, как сталинская высотка.

– А эта знаменитая лагерная иерархия, которой Солженицын так усердно ужасается? – она цинично усмехнулась, расправляя воротник пальто. – Да ведь ГУЛАГ в его описании – это просто идеальная, дистиллированная модель любого нашего НИИ, ЖЭКа или той же школы. Стоит человеку получить хоть миллиметр власти – ковш на раздаче баланды или должность бригадира на лесоповале – и в нем тут же просыпается мелкий, вонючий фюрер. Автор пытается убедить нас, что система сломала ангелов. Но текст доказывает обратное: система просто открыла клетку и свистнула. И благородные «политические» тут же побежали стучать куму друг на друга, включая самого «Неполживова», чтобы выкружить себе лишнюю пайку хлеба или теплое место в каптерке. Причем стучали с таким филологическим блеском, что Ежов и Берия могли бы издавать эти доносы как альманах лучшей прозы.

Она прошлась взад-вперед по жухлой траве, заложив крошечные руки за спину, словно старый конвойный на вышке.

– Солженицын думал, что пишет памятник непокоренному человеческому духу. А написал – каталог великой капитуляции. Там же черным по белому показано: человек – существо абсолютно пластиковое. Его можно согнуть в любую букву алфавита за две недели без сна и миску тухлой кильки. И ладно бы уголовники, эти недочеловеки, с ними все ясно. Но «ордена меченосцев», партийные бонзы, профессура! Они подписывали признания в шпионаже в пользу Уругвая просто потому, что им не давали сходить в туалет. Какая низость, Палыч, какая физиологическая немощь духа. Вся наша великая культура XIX века с ее Толстым и Достоевским испарилась в первом же пересыльном пункте, уступив место одной-единственной мысли: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Александра Сергеевна остановилась, глядя на Писенко своими огромными, темными, абсолютно немигающими глазами, в которых горел холодный огонь высшего знания.

– В школьную программу это ввели, чтобы дети якобы учились состраданию. А дети – они же твари чуткие, они фальшь за версту чувствуют. Они видят, что великий пророк Исаич выжил в этом аду не потому, что молился или стихи в уме сочинял, а потому, что вовремя устроился придурком в шарашку, подальше от общих работ, где люди дохли как мухи. Вот и вся рецензия, Палыч. Книга учит одному: если ты интеллигент с амбициями, найди себе теплый угол в лагере и пиши оттуда мемуары о том, как ужасно страдают остальные.

Она резко замолчала, подхватила с земли самую легкую связку газет и повернулась в сторону гаражей.

«Ася», И. Тургенев

Майское солнце вязло в густой кроне старого каштана, росшего под окном кабинета русского языка и литературы, и этот сонный, медовый свет ложился на исцарапанный линолеум длинными золотыми полосами. Воздух провинциального города N, пропитанный пылью и ароматом цветущей сирени, казался неподвижным, застывшим в ожидании неизбежного лета.

В этой торжественной тишине, нарушаемой лишь далеким дребезжанием трамвая, за учительским столом восседала Александра Сергеевна Пушкина. Точнее, она на нем не сидела, а возвышалась, устроившись на специальной подушке, – женщина ростом ровно девяносто сантиметров и весом с хорошего породистого пса, но обладавшая осанкой византийской императрицы. Ее крошечные пальцы, унизанные старинными серебряными кольцами, нежно баюкали потрепанный томик Ивана Сергеевича Тургенева.

Перед ней уныло раскинулось море пубертатного равнодушия: десятый «Г», состоящий преимущественно из будущих завсегдатаев местных автосервисов и девиц с нарисованными бровями, которые уже мысленно примеряли фату или халат кассира в супермаркете. На первой парте сидела Ленка Лядбаева – монументальное существо весом под центнер, увлеченно давившая прыщ на подбородке перед зеркальцем.

Александра Сергеевна закрыла глаза, и ее голос – густой, бархатный, невероятное контральто, совершенно не вязавшийся с ее птичьим телом, – поплыл над классом:

– Господа, сегодня мы прикасаемся к чистейшему роднику русской лирической прозы. Повесть «Ася». О, этот дивный, прозрачный воздух прирейнского городка! Этот Лан, где за каждым поворотом угадывается шорох платья, этот трепет первой, еще не осознавшей себя юности. Тургенев создал не просто образ – он соткал из тумана, лунного света и девических слез великую загадку русской души. Посмотрите на Асю. Какая хрупкость, какая грация дикого цветка, не знавшего садовника! Как тонко поэт – а Иван Сергеевич здесь истинный поэт – передает это робкое, пугливое биение сердца, готовность к полету, эту святую, жертвенную чистоту, которая пугает и завораживает обывателя...

В этот момент Ленка Лядбаева, издав победный горловой звук, наконец выдавила прыщ, и тот с тихим щелчком размазался по зеркальцу. Лядбаева шумно, со свистом выдохнула и полезла в сумку за влажной салфеткой.

Глаза Александры Сергеевны распахнулись. Черные зрачки сузились до размеров игольного ушка. Полуулыбка истинного ценителя искусства мгновенно превратилась в змеиный оскал. Она аккуратно отложила Тургенева, прыгнула со стула – ее крошечные туфельки 24-го размера глухо стукнули о пол – и подошла к краю подиума. Из-за стола показалась ее фигура: маленькая, но ладно скроенная, увенчанная крупной головой с безупречным седым каре. Она посмотрела на Ленку снизу вверх, но ментально в этот миг впечатала ее в линолеум.

– Лядбаева, – вкрадчиво произнесла Пушкина, и бархат в голосе сменился холодом хирургического скальпеля. – Твой биологический оптимизм восхищает, но давай перенесем дерматологические процедуры в кожно-венерологический диспансер, где тебе самое место через пару лет. А теперь послушай меня, жертва некачественной контрацепции, и вы, стадо будущих алиментщиков, тоже послушайте. То, что вы должны будете прочитать своими неразвитыми лобными долями, – это не про любовь. Это клинический разбор двух канонических дегенератов, оставленный нам великим писателем, который сам всю жизнь пресмыкался перед Полиной Виардо и в бабах разбирался на уровне хорошего сутенера.

Класс замер. Даже местный хулиган Борька Навозик перестал жевать жвачку.

– Давайте снимем эти розовые сопли с ваших прыщавых носов и посмотрим на текст, – Александра Сергеевна заложила руки за спину, меряя подиум крошечными шагами. – Кто такая Ася? Нам ее подадут как «тургеневскую девушку». Чушь! Ася – это классическая, эта-

лонная психопатка с запущенным комплексом неполноценности на почве незаконнорожденности. Она дочь дворовой девки и барина. Ее пубертатную крышу рвет от социальной дезориентации. Что она делает в Германии? Она устраивает непрерывный, дешевый перформанс для привлечения внимания. То она лазит по руинам, как макака-резус, то поливает цветы из разбитого кувшина, то притворяется благовоспитанной дамой. Это не «загадочность», Лядбаева. Это истерическое расстройство личности. Ей не любовь нужна, ей нужен психиатр и галоперидол. Она постоянно проверяет мужика на излом, потому что сама внутри пустая, как ведро Борьки Навозика.

Пушкина остановилась, резко повернувшись на каблуках, отчего ее юбка-карандаш едва заметно качнулась.

– А теперь посмотрим на главного героя, этого инфантильного слизняка Н.Н. Двадцатипятилетний бездельник, мотается по Европам, потому что деньги некуда девать, страдает херней и «наблюдает жизнь». И тут ему подворачивается это малолетнее недоразумение по имени Ася. И что делает наш благородный рыцарь? Нам в учебниках пишут: «он испугался ее порыва, он не был готов к ответственности». Да ни черта подобного! Он обыкновенный трусливый нарцисс с вялой эрекцией духа. Вспомните сцену свидания в доме старухи. Ася, эта дура, бросается ему на шею, задыхается, выдает весь свой подростковый гормональный криз. А что делает Н.Н.? Вместо того, чтобы либо взять девку в охапку и везти к алтарю, либо нормально, по-мужски сказать «малыш, остынь», он начинает ее... отчитывать! «Вы предо мной не скрывали ничего, вы виноваты». Он включает морализатора, потому что у него банально поджался хвост! Он испугался, что эта сумасшедшая сломает его комфортный мирок с пивом и созерцанием закатов.

Александра Сергеевна презрительно фыркнула, ее крошечные ноздри раздулись.

– Самый шик – это финал, господ дегенераты. Тургенев гениально выписал изнанку мужского эгоизма. Как только Ася благополучно свалила, избавив его от необходимости принимать решения, Н.Н. тут же начинает «страдать». О, как он страдает! Всю жизнь хранит ее записочки, засохший цветок гелиотропа. Почему? Да потому что это безопасно! Засохшая герань не устроит тебе истерику, не потребует денег на ребенка, не опозорит перед обществом. Ему нужна была не женщина, ему нужно было идеальное воспоминание, под которое можно благородно стареть и дзюбировать на свое неудавшееся величие. Он просрал единственную живую искру в своей никчемной жизни ради того, чтобы остаться «чистым» в собственных глазах.

Она легко, как кошка, взлетела обратно на свой стул, уселась на подушку и снова взяла в руки книгу. В классе стояла гробовая, звенящая тишина. Даже Лядбаева забыла про салфетку.

– Так вот, дорогие мои, – Александра Сергеевна снова улыбнулась той самой нежной, интеллигентной улыбкой, а ее голос вернул свой бархатный, панорамный объем. – Иван Сергеевич Тургенев оставил нам жесточайший памятник человеческой трусости и эгоцентризма, упакованный в безупречную, звенящую поэтическую форму. На следующем уроке мы пишем сочинение. Тема: «Почему Н.Н. – моральный импотент». Свободны.

Афанасьев Александр Николаевич

Кабинет русского языка и литературы школы номер тридцать шесть провинциального города N пах вечностью, гнилым паркетом и неистребимым духом ученического пота.

Александра Сергеевна Пушкина – женщина ростом ровно девяносто сантиметров и весом с упитанного первоклассника – восседала на трех подложенных под ее сиденье томах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Ее крошечные ножки в анатомических туфельках двадцать четвертого размера едва доходили до края стула, но взгляд огромных, навывкате, глаз заставлял тридцать оболтусов застыть в священном ужасе. Заслуженный учитель РФ, обладательница колоссального филологического ума, она носила имя великого тезки как тяжелый бронежилет. Человечество она презирала с ледяной ясностью, но перед Словом – трепетала.

Июньский вечер дышал душиной липой. Экзамены были сданы, школа опустела. Александра Сергеевна, заперев дверь кабинета, достала из бездонного ридикюля пузатую бутылку мутной домашней настойки на лесных ягодах и травах – подарок от бабушки одного из двоечников – и старинную хрустальную рюмку. Ей хотелось прикоснуться к корням. К первозданному фольклору. К великому собирателю русской души – Александру Николаевичу Афанасьеву.

Она налила темную, пахнущую прелой земляникой жидкость, и немедленно выпила. Мир качнулся. Александра Сергеевна поморщилась, забыв, что алкогольные градусы на фоне филологического экстаза имеют у нее странное свойство трансформировать пространство и время...

Тишина. Небо над Воронежем, а может, над Москвой середины девятнадцатого века, растянулось бесконечным шелковым полотном, по которому Творец небрежно рассыпал пухлые облака, похожие на спящих лебедей. Ветер, этот вечный странник степей, тихонько шевелил густую траву, баюкая утомленную зноем землю. В воздухе разливался густой, медовый аромат цветущей ржи и полевой ромашки.

Какая первозданная, святая Русь открывалась взору! Как упоительно звенела в этой тишине крестьянская песня, доносившаяся с дальних покосов – чистая, как слеза младенца, глубокая, как само народное сердце. Здесь, в этих избах, крытых соломой, рождалось великое чудо – русская сказка, средоточие вековой мудрости, целомудренной чистоты и наивной веры в торжество добра над лютым злом. Здесь дух народный, омытый росами, являл свою нетленную, белоснежную красоту.

Александра Сергеевна моргнула. Панорама благодати свернулась. Она сидела на жестком стуле в душиной, заваленной пыльными архивными папками канцелярии Главного управления цензуры. Напротив нее заваленный бумагами сидел господин в чиновничьем вицмундире, с бледным лицом и воспаленными от бессонницы глазами. Александр Николаевич Афанасьев.

– Опять... – пробормотала Александра Сергеевна, чертыхнувшись про себя: вечно алкоголь выкидывал ее в чужие эпохи. Она поправила кружевной воротничок, который на ее крошечном теле выглядел как монументальный декор, и посмотрела на великого этнографа.

Стиль ее мыслей мгновенно переключился с гоголевского пафоса на привычный, хирургически точный цинизм.

– Ну что, Сашенька, сидим, бумажки перекладываем? – резко, со скрежетом спросила она, снизу вверх буравя чиновника взглядом. Тот вздрогнул, оглядывая девяностосантиметровую гостью с выражением глубокого шока. – Не смотри на меня так, будто я сбежала из паноптикума. Я, в отличие от твоих сказочных персонажей, реальна и умею думать.

Афанасьев нервно поправил очки:

– Сударыня... вы кто? И как вы...

– Я – твой кошмар из будущего, милый. Я та, кто заставлял детей учить твои «Народные русские сказки». И знаешь что? Твоя хваленая «народная мудрость» – это самый грандиозный, клинический сборник психопатологий, завернутый в сусальное золото. Вы, господа интеллигенты, заигрались в святость мужика. Выдумали себе какую-то благостную «душу народную». А ты ведь архивист, Сашенька! Ты же внутренности этой души наружу вытащил. Давай честно: твои сказки – это хроника тотального бытового садизма и лени.

Афанасьев побледнел, пытаясь защититься:

– Но позвольте! Это же мифологический пласт! Борьба света и тьмы, солярные мифы, очищение...

– Очищение? – Пушкина язвительно рассмеялась, ее крошечный кулачок стукнул по столу, заставив чернильницу подпрыгнуть. – Не смеши мои детские туфли! Твой Иван-дурак – это же идеальный портрет латентного паразита и психопата. Он тридцать лет лежит на печи, палец о палец не ударит, абсолютный ноль. И тут – бац! – ловит несчастную рыбу, врубает шантаж и начинает эксплуатировать фауну по щучьему велению. Никакого труда, никакого созидания. Мораль сказки какова? Будь дебилом, сиди ровно, жди халявы. А как этот «светлый герой» решает проблемы? Вспомни царевну-лягушку. Чувак крадет кожу, сжигает ее – чистый абьюз и нарушение личных границ. А когда баба исчезает, он идет ее возвращать, попутно устраивая геноцид местной фауне: медведя припугнул, волка на счетчик поставил.

Афанасьев попытался встать:

– Это метафора инициации! Родоплеменной строй...

– Это диагноз, Сашенька! – перебила Александра Сергеевна, подавляя его своим колоссальным филологическим авторитетом, несмотря на то что ее голова едва возвышалась над краем стола. – А твоя «Морозко»? Да это же пособие по семейному насилию и стокгольмскому синдрому! Мачеха высаживает девку в тридцатиградусный мороз в лес – чистая статья за покушение на убийство. Приходит старый садист Морозко, начинает ее сознательно доводить до гипотермии: «Тепло ли тебе, девица?» И девка, судорожно синея, врет в глаза авторитетному источнику: «Тепло, дедушка». И за то, что она проявила абсолютную покорность перед лицом смертельной угрозы и засунула свое человеческое достоинство в одно место, ее награждают сундуком золота. А нормальную девчонку, которая честно сказала: «Ты че, дед, очумел, у меня конечности отнимаются!», этот старый психопат просто замораживает насмерть. И это педагогический идеал? Хвалить за ложь и терпимость к насилию, убивать за честность?

Афанасьев судорожно сглотнул, его руки задрожали.

– Но народный юмор... быт...

– О, про юмор давай отдельно! – глаза Пушкиной блеснули зловещим филологическим азартом. – Ты же издал «Заветные сказки» в Женеве, потому что здешняя цензура от этих «шутков» в обморок падала. И правильно падала! Там же через сюжет – зоофилия, некрофилия и повальное пьянство. Поп у тебя то с кобылой, то с батраком, барин – клинический идиот, а крестьянин – хитрый садист, у которого вершина юмора – это накормить ближнего экскрементами или обворовать слепого. Вы, интеллигентики, ищите там сакральные смыслы, солнце и дождевые тучи по Афанасьеву-Буслаеву. А там нет солнца, Сашенька! Там есть голодный, темный, забитый люд, который в своих фантазиях мечтает об одном: сытно пожрать, ни черта не делать и чтобы соседа парализовало. Твои сказки – это сублимация нищего сурового быта, где человеческая жизнь стоит дешевле лучины.

– Вы жестоки... – прошептал Афанасьев, закрывая лицо руками. – Я собирал сокровища... Я умер в нищете, чахотка сожрала меня, я продал библиотеку за бесценок, чтобы издать эти книги... Я верил в этот язык!

Александра Сергеевна замолчала. На секунду в ее огромных глазах промелькнула тень той самой, глубокой, щемящей нежности к искусству, которую она так тщательно прятала.

Она посмотрела на свои крошечные руки, потом на измученного чиновника. Ее физическая малость сейчас казалась монументальным пьедесталом для сострадания.

– В язык, говоришь... – уже тише, без злобы сказала она. – Язык у тебя великий, Сашенька. Текст – безупречен. Ты зафиксировал то, что никто не решался: подлинную, не причесанную карамзинской помадой реальность. Ты выпотрошил фольклор, как тушу, и показал: вот мы какие. Дикие, страшные, инфантильные, но чертовски поэтичные в своем безумии. Твоя трагедия в том, что ты полюбил чудовище. Продал последнюю рубаху ради того, чтобы мир увидел портрет этой дремучей, лесной, медведем рожденной Азии. И за это тебе, дураку, памятник в веках. Но не смей говорить мне про святость этих сюжетов. Это хроника выживания в аду, записанная гениальным стенографистом.

Афанасьев поднял голову, но комната канцелярии уже начала таять, превращаясь в туман, пахнувший лесной земляникой и старыми учебниками.

Александра Сергеевна резко вздрогнула. Стол. Кабинет русского языка и литературы. На часах – девять вечера. Рюмка была пуста.

Она тяжело вздохнула, соскользнула со своего постамента из Брокгауза и Ефрона и подошла к окну. Рост в девяносто сантиметров позволял ей видеть только подоконник и кусок неба, но ей и не нужно было смотреть вниз, на землю. Она и так знала, что там, внизу. Человечество за полтора века ничуть не изменилось: все так же лежало на печи, ждало халявных щук и ненавидело мачех.

– Сашенька, Сашенька... – проворчала она, пряча бутылку обратно в ридикюль. – Зато язык... Какой у этого мерзавца Емели был сочный, чистый русский язык.

Она выключила свет, заперла кабинет и, мерно стуча крошечными ортопедическими туфельками по пустому коридору, пошла домой – проверять тетради будущих Иванов-дураков.

«Баба-яга», русская народная сказка

Майское солнце в провинциальном N не грело – оно плавало асфальт, выжимая из старых тополиных аллей густой, липкий дух тоски и скорой грозы. На платформе пригородного вокзала, среди громоздких баулов с рассадой и дачников в полинявших панاماх, Александра Сергеевна Пушкина выглядела инородным телом, оброненным из другой, более изящной эпохи.

Заслуженный учитель Российской Федерации стояла у края перрона, опираясь на трость с набалдашником в виде серебряной совы. При росте в девяносто сантиметров и весе, едва перевалившем за четверть центнера, она умудрялась смотреть на окружающую ее плотную толпу с высоты Парнаса. На ней был безупречно отутюженный кружевной воротник-жабо и строгий жакет, сшитый на заказ в ателье, – единственном месте, где лекала подходили ее крошечной фигуре.

Рядом, обливаясь потом и переминаясь с ноги на ногу, стоял завуч по воспитательной работе, грузный Петр Сидорович Хувеев, назначенный сопровождать «наше национальное достояние» на областной симпозиум.

– Какая глубина, Петр Сидорович, какая сакральная глубина таится в истоках нашего самосознания! – выдохнула Александра Сергеевна. Голос ее, густой и бархатистый, контрастировал с ее кукольным телом, заставляя случайных прохожих испуганно оглядываться. – Возьмите устное народное творчество. Сказка «Баба-яга» в великой, чуткой обработке Афанасьева! Это же не просто текст. Это симфония славянского духа, великая элегия о сиротстве, катарсис детской невинности, проходящей сквозь горнило инициации. Какая нежная, трепетная метафора: девочка, гонимая злой мачехой, ищет иголку и ниточку, чтобы сшить саван своей уходящей инфантильности! А этот сакральный зооморфизм? Кот, псы, стонущая березка... Это же хор греческой трагедии, застывший в вологодских лесах! Тридцать лет назад, когда я еще работала с младшими классами, я заставляла их проживать каждую строчку, плакать над этим безмолвным триумфом милосердия...

В этот момент из вокзального громкоговорителя раздался хриплый, прокуренный голос диспетчера: «Электричка до Свистунова задерживается на два часа по техническим причинам. Повторяю...»

Толпа дачников дружно, слаженно выдохнула многоэтажный матерный стон. Петр Сидорович выругался сквозь зубы и уныло посмотрел на свои часы.

Александра Сергеевна на секунду замерла. Ее крошечные пальцы, сжимавшие серебряную сову, побелели. Она медленно повернула голову к завучу, и ее огромные, мудрые глаза филолога сузились до щелей. Элегический пафос испарился, как капля воды на раскаленной плите.

– По техническим причинам, – процедила она ледяным тоном, резко переходя на чеканный, циничный регистр. – Естественно. Человеческий скот не способен содержать в порядке даже пару ржавых рельсов. Впрочем, чему я удивляюсь? Это генетическое. Вся суть нашей ментальности как раз и описана в этой гребаной сказке про Ягу, которую министерские дегенераты засунули в программу второго класса. Они думают, это сказка о добре? Петр Сидорович, очнитесь, это же клинический разбор тотального, хрестоматийного эгоизма и бытовой проституции.

Завуч сглотнул и сделал шаг назад. Александра Сергеевна, чьей макушкой можно было мерить радиацию на уровне его пупка, ментально возвышалась над Хувеевым, как Останкинская телебашня. Она ткнула тростью в сторону путей.

– Давайте препарировать этот шедевр без соплей. Начнем с отца. «Дед овдовел и женился на другой». У деда осталась маленькая дочь. Что делает этот старый импотент, когда мачеха начинает бить ребенка и думать, «как бы вовсе извести»? Правильно – ничего. Ему плевать.

У него новая юбка в хате. В ключевой момент, когда мачеха отправляет девочку на верную смерть к сестре-людоедке, автор целомудренно пишет: «Раз отец уехал куда-то». Куда «куда-то», Сидорович?! На вахту? В запой? Он просто технично слился, чтобы не мешать бабе решать квартирный вопрос за счет утилизации первенца. Это не отец, это биологический статист.

Она сделала короткую паузу, переведя дух, и продолжила, глумливо ухмыляясь:

– Но девочка, слава богу, генетически пошла в мачеху – такая же расчетливая дрянь. Она идет к родной тетке за инструкциями. И тут начинается самое интересное – экономика загробного мира. Тетка выдает ей прайс-лист для подкупа персонала Яги. И заметьте, как гениально Афанасьев подчеркивает абсолютную сучью сущность всего живого и неживого в этом лесу.

Возьмем кота. Кот – это апофеоз шкурного интереса. Девочка сидит за ткацким станком, Яга топит баню, чтобы сожрать племянницу на завтрак. Девочка дает коту ветчины. И что говорит этот усатый коллаборационист? «Я тебе сколько служу, – заявляет он хозяйке, – ты мне косточки не дала, а она мне ветчинки дала». То есть кот годами жил на гособеспечении у Яги, жрал ее мышей, но стоило девчонке подкинуть ему кусок просроченного шпика, как он тут же сдает объект, сливает государственную тайну, выдает гробешок с полотенцем и обеспечивает побег. Это не верный спутник, это продажная тварь, готовая продать родину за калории.

Александра Сергеевна прошлась по платформе, мерно стуча тростью. Дачники невольно расступались, чувствуя исходящую от лилипутки волну чистой, концентрированной мизантропии.

– А собаки? – продолжала она, победоносно глядя на завуча Хувеева. – Защитники периметра! Променили суверенный долг на сухую «горелую корочку». А ворота? «Ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица». Слушайте, Петр Сидорович, они там все сидят на рабочих местах, ненавидят работодателя и ждут первого встречного с копеечной взяткой! Даже березка – неодушевленный предмет, символ России, черт бы ее драл! – и та туда же: «Ты меня ниточкой не перевязала, а она ленточкой». Тщеславное бревно! Коррупция снизу доверху. Вся экосистема Бабы-яги держится на том, что Яга – отвратительный менеджер, экономящий на соцпакете для сотрудников. Понимаете? Девчонка спасается не благодаря уму или доброте, а потому что нашла уязвимость в системе мотивации персонала! Она просто раздала мелкие взятки. Ей бы контрабандистом работать, а не рубашки шить.

Александра Сергеевна остановилась, тяжело дыша, и посмотрела на притихший вокзал.

– И каков же финал этого педагогического ужаса? Девочка прибегает домой. Папаша, который только что вернулся «откуда-то», внезапно прозревает. И как он решает семейный конфликт? Цивилизованным разводом? Судом? Нет. «Дед рассердился на жену и расстрелял ее». Что-то Афанасьев перемудрил. Из берданки, видимо, расстрелял, бабахнул прямо в сених. Хеппи-энд, Сидорович! Чистое уголовное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, потому что дед с дочкой после этого «стали жить да поживать да добра наживать». На крови и трупах. И завершает это все авторское: «и я там был, мед-пиво пил». То есть свидетель зашел, увидел труп мачехи, выпил с убийцами бесплатного алкоголя, замарал усы и пошел дальше.

Она брезгливо поморщилась, поправила жабо и снова превратилась в хрупкую фарфоровую статуэтку.

– Вот так и надо объяснять второклашкам, Петр Сидорович. Мир – это филиал избушки Яги. Если хочешь выжить – ищи, кому дать ветчины, и молись, чтобы у твоего отца было ружье. А вы говорите – «славянский дух»... Пойдемте поищем расписание автобусов, иначе эта техническая задержка заставит меня возненавидеть человечество еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше...

«Багиня», Леонид Карпов

За окном вагона поезда на Воркуту расстилалась та неизбывная, густая русская равнина, что навеивает на путешественника думы о вечности и тщете. Смеркалось. Сизый пар от титана тянулся по проходу, мешаясь с запахом копченой курицы и предчувствием близкой сырости.

В купе номер три, аккуратно на нижней полке, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Природа, сыграв с ней злую шутку, отмерила ей ровно девяносто сантиметров земного бытия и двадцать пять килограммов веса, но взамен наградила осанкой византийской императрицы и колоссальным, как купол Исаакия, филологическим умом. Ее крошечные ножки в ортопедических ботиночках не доставали до пола, но всякий, кто осмеливался взглянуть в ее выпуклые, навывкате, грозные глаза Заслуженного учителя, немедленно чувствовал себя ничтожным гимназистом.

Напротив нее сидел случайный попутчик – благообразный доцент-ихтиолог с бородкой и интересной фамилией Мозгоедов-Епатьев. Александра Сергеевна, бережно прижимая к крошечной груди свежий толстый журнал, предавалась высокому экстазу.

– Вы только вчитайтесь, милостивый государь, в эту вязь, в этот безупречный ораторский слог! – голос ее, неожиданно густой и бархатистый, вибрировал на стыках рельсов. – Какая нежная, щемящая экспозиция! Воронежский писатель Леонид Карпов в своем заглавном шедевре «Багиня» поднимается до высот истинно гоголевского обобщения. Это же реквием по утерянной духовности, плач Ярославны над руинами нашей ментальности! Как тонко автор противопоставляет три курса дореволюционной гимназии и нынешний цифровой суррогат. Какое величие замысла в этой трагической фигуре Лидочки-Изолюды! Она ведь жрица, несущая крест своей БАГадельной скорби ради того, чтобы швеи из Пензы узрели свет. Это платоновский миф о пещере, переложенный на язык социальных сетей, где сумочка от Шанель – единственная подлинная идея в мире теней...

В этот момент поезд резко дернуло на стрелке. Стоявший на столике стакан в железном подстаканнике качнулся, и капля мутного чая упала прямо на белоснежный крахмальный воротничок Александры Сергеевны.

Глаза лилипутки сузились. Благообразный глянец XIX века слетел с нее в ту же секунду. Шелковый платочек, которым она промокнула пятно, был скомкан с яростью карманного титана.

– Тьфу, бред сивой кобылы, – отрезала Александра Сергеевна, и голос ее стал сухим, как наждак. – Нашли жрицу. Обыкновенная инфузория-туфелька с раздутым самомнением и дефицитом внимания. Вы вообще текст-то читали, ихтиолог? Глазами читали или чем?

Доцент Мозгоедов-Епатьев вздрогнул и вжался в полку. Маленькая женщина, казалось, заняла собой все пространство купе, подавляя его своим ментальным масштабом.

– Карпов написал не сатиру на блогеров, – жестко отчеканила она, листая страницы крошечными, детскими пальцами. – Он задокументировал абсолютный, эталонный триумф паразитического эгоизма. Посмотрите, как препарированы эти твари. Лидочка и Радик – это же идеальный симбиоз двух глистов в кишечнике сытого общества. Они не дураки, нет! Они гениальные менеджеры человеческого убожества. Из чего состоит их «БАГолепие»? Из тотальной, звенящей пустоты. Автор пишет: «Там сиротливо светились 412 рублей. Но Лидочка не унывала». Почему? Да потому что у нее атрофирован стыд! Ей не нужно работать, ей нужно продавать воздух. «Гайд по дыханию маточкой» за сто тысяч – это же чистой воды торговля индulgенциями для дегенератов. И самое страшное, что спрос рождает это предложение.

Она сердито стукнула кулачком по столику. Подстаканник звякнул.

– А Радик? Этот «БАГач» с винарами фаянсовыми. Купил три кило сосисок собакам – и тридцать дней ноет в сторис про свою тонкую душу. Это же высшая степень цинизма!

Он покупает индульгенцию за цену мясной обрезы, чтобы потом стричь купоны с лохов на курсе «Как выйти из нищеты». Карпов показывает нам изнанку так называемого «успешного успеха». Это мир, где левое ухо уплывает в воротник от дешевых китайских фильтров, но стадо продолжает жрать кактус, потому что стаду тоже хочется казаться, а не быть.

Александра Сергеевна перевела дыхание, ее огромные глаза сверкнули под тусклой вагонной лампой.

– Они сидят на полу своей тридцатиметровой конуры, делят одну сумку Шанель на двоих и запирают ее тридцать первого числа, чтобы кожа не портилась. Вы понимаете весь ужас этой детали? Это не нищета материальная, это нищета духа, возведенная в культ. Они молятся на кусок телячьей кожи со строчкой! И финал, этот финал, который вы, небось, сочли поэтичным... «Покупают швеи из Пензы и бухгалтеры из Твери, мечтающие о таком же красивом, ровном, цифровом несчастье». Это же приговор! Люди добровольно платят за право приобщиться к чужому вранью, потому что собственная серая реальность им пресна. Карпов препарировал не просто двух мошенников, он показал, что современное человечество неизлечимо больно суррогатом. Им не нужен бог, им нужен баг. И они готовы платить за этот баг в рассрочку.

Она замолчала, тяжело дыша. Мозгоедов-Епатьев испуганно смотрел на нее, боясь даже пошевелиться. Александра Сергеевна аккуратно закрыла журнал, а затем с удивительной ловкостью, обусловленной десятилетиями пребывания в таком маленьком теле, поджала ноги и уставилась в темное окно, где зажигались редкие огни провинциальных полустанков.

Байрон, Джордж Гордон

Ночь дышала сыростью провинциального среднерусского захолустья, кутая облупившиеся хрущевские пятиэтажки в саван глухого, беспросветного тумана. В крошечной кухне, где на подоконнике дремали увядшие фиалки, царил дух уединенного созерцания.

Александра Сергеевна Пушкина сидела на специально надстроенном высоком стуле – обычная мебель безжалостно поглотила бы ее хрупкое тело, едва достигавшее девяноста сантиметров в высоту. Ее маленькие, изящные ножки в кашемировых носках не доставали до пола, сиротливо покачиваясь в воздухе, но в этой крошечной женщине весом с полмешка бурака жила титаническая, пугающая мощь духа. Заслуженный учитель Российской Федерации, чей филологический ум презирал быт и препарировал классику с хирургическим хладнокровием, сегодня предавался тайной слабости.

На столе, покрытом вязаной салфеткой, высился хрустальный графин, в глубине которого тяжелым янтарным блеском переливался подлинный шотландский виски. Александра Сергеевна, чей нос едва возвышался над краем стола, благоговейно вдохнула торфяной, дымный аромат напитка, символизирующего туманные замки Альбиона.

Приподняв тяжелый для ее детской ручки бокал, она сделала глубокий глоток, совершенно позабыв, к каким причудливым ментальным изломам ведет ее соприкосновение с крепким алкоголем. Комната поплыла, стены раздвинулись, и серый провинциальный туман обратился в лондонский смог девятнадцатого столетия.

Она очнулась в роскошных, затянутых бархатом интерьерах, где на кушетке, небрежно закинув ногу на ногу, восседал он – хромоногий Аполлон, кумир европейской молодежи, лорд Джордж Гордон Байрон. Великий поэт задумчиво перебирал кудри, глядя в окно на очертания Вестминстера.

Александра Сергеевна замерла, ощущая, как сладкий трепет истинного филологического экстаза заливает ее грудь. Вот оно – паладинство духа, незабвенный гений, воспевавший бездны человеческого одиночества! Ах, как прекрасен этот бунт против мещанской сытости, это великое парение Чайльд-Гарольда над серой толпой! Поэзия Байрона – это бушующий океан, где каждая волна бьется о гранит рока, это чистая, хрустальная скорбь по недостижимому идеалу, вечный траур по утраченной чистоте мира.

Сердце Александры Сергеевны, запертое в клетке маленьких ребер, забилося в такт великим ямбам. Она посмотрела на поэта с нежностью матери, обретшей свое величайшее дитя.

В этот момент лорд Байрон лениво зевнул, почесал изящную лодыжку и крикнул слуге: – Флетчер, бездельник! Принеси мне зеркало и заставь кухарку взвесить мой утренний сухарь. Если там больше унции, я скормлю ее собакам. И не забудь подкрутить мои папилютки, вечером у леди Оксфорд я должен выглядеть смертельно бледным, но растрепанным!

Александра Сергеевна моргнула. Наваждение возвышенного экстаза лопнуло, как дешевый презерватив. В ее глазах, секунду назад лучившихся филологической любовью, зажегся холодный, циничный блеск умудренного опытом педагога, который тридцать лет созерцал пубертатные истерики старшеклассников.

Она спрыгнула с кресла, глухо стукнув маленькими туфлями о деревянные половицы, расправила блузку с жабо и подошла к кушетке. Из-за своего роста она едва доставала лорду до пояса, но ее взгляд сверху вниз заставил бы вжать голову в плечи даже директора департамента образования.

– Так, Милорд, – отчеканила Александра Сергеевна голосом, от которого у одиннадцатых классов обычно случался спазм сфинктера. – Снимите этот трагический фэйс. Перед кем вы тут ломаетесь? Передо мной? Женщиной, которая наизусть помнит все косяки вашей метрики?

Байрон вздрогнул и вылутился на горящую кроху:

– Кто вы, прекрасный карлик? Дух моих стихов?

– Дух твоей немой совести, Жора, – отрезала она, запрыгивая на соседний стул и закидывая ногу на ногу. – Давайте снимем покровы с этого вашего «байронизма», пока у меня шотландский торф из головы не выветрился. Весь ваш великий романтизм – это просто затянувшийся пубертатный эгоцентризм, скрещенный с тяжелым нарциссизмом и хроническим бездельем. Вы же не поэт бунта, вы – первый в истории инфлюенсер-хайпожор, продававший малолеткам депрессию в красивой обертке.

– Как вы смеете?! – вскочил поэт, театрально прижав руку к груди. – Моя скорбь по вселенскому несовершенству...

– Ваша скорбь – от того, что вам маменька в детстве недодала ремня, а папенька оставил кучу долгов и титул, который не на что было содержать! – Александра Сергеевна презрительно фыркнула. – Давайте разберем ваш главный хит – «Паломничество Чайльд-Гарольда». Что там происходит? Молодой мажор из хорошей семьи, перетрахав половину Лондона и поймав экзистенциальную скуку (а скорее всего, банальный триппер), отправляется в евротур. И вместо того чтобы нормально смотреть достопримечательности, он три тома ноет, как ему душно, как мир его не понимает и какие все вокруг ничтожества. Это не философия, Жорочка. Это блог обиженного хипстера, которого не пустили в приличный клуб.

Байрон побледнел еще сильнее, на этот раз без помощи пудры.

– Но мой герой выше общества! Он презирает законы толпы!

– Ваш герой просто не умеет строить здоровые социальные связи, – жестоко резюмировала учительница. – Вы придумали «байронического героя» – мрачного, загадочного, с тайным прошлым. А суть этого архетипа проста как три рубля: это идеальное оправдание для обыкновенного мудачества. «Я отношусь к людям как к дерьму не потому, что я хамло, а потому, что моя душа изранена мировой скорбью!» Гениально! Мои двоечники этой вашей отмазкой пользуются, когда домашку по русскому языку не сдают. «Александра Сергеевна, я не выучил деепричастия, потому что тлен и бездна поглотили мой разум».

Она прошла по комнате, заложив маленькие руки за спину. Ее крошечная фигура в этот момент казалась монументом абсолютного, безжалостного знания.

– Вы ведь панически боялись стать смешным или обычным. Ваша хромота – вот истинный двигатель вашего гения. Вы так стеснялись своей больной ноги, что решили: раз я не могу ходить как все, я буду летать, а вы все будете ползать у моих ног. Вы превратили физический изъян в бренд. Посмотрите на меня – девяносто сантиметров чистой ненависти к человеческой глупости! И я не плачу в стихах о том, что стулья слишком высокие. Я просто беру и сажусь на них. А вы? Вы же жрали одну вымоченную в уксусе сырую картошку, чтобы не растолстеть, потому что жирный романтический поэт – это коммерческий провал! Вы продавали пубертатным барышням свой профиль и загадочное молчание.

– Я умер за свободу Греции! – выкрикнул Байрон последнюю карту.

– Ой, я умоляю, не смешите мои тапочки, – Александра Сергеевна махнула маленькой ладошкой. – Вы поехали в Миссолунги, потому что в Англии вас уже готовы были линчевать за инцест с сестрой и долги, а в Италии вам наскучило. Вам нужен был грандиозный финал для пиар-кампании. Вы приехали туда, купили кучу красивой формы, наняли личную гвардию из албанцев, которая вас же и грабила, и умерли... от чего? От болотной лихорадки и того, что тупые эскулапы пустили вам кровь грязными ланцетами! Романтично? Обоссаться как романтично. Обычная медицинская халатность на почве антисанитарии. Но зато как продалось!

Байрон медленно опустился на кушетку, глядя на это грозное филологическое величество ростом с комнатную собачку.

– Значит... все зря? И «Дон Жуан»?

– Ну, «Дон Жуан» – неплохая сатира, – смилостивилась Александра Сергеевна, поправляя воротничок. – Там вы хотя бы поржали над собой. Ладно, Жора, не кисни. Стихи у тебя

складные, метафоры сочные, Лермонтов на тебе всю карьеру построил, дурачок. Но челове-
чишко ты был говенный. Эгоист, позер и бабник с комплексом бога. Впрочем, литература
таких и любит. Ладно, бывай. У меня завтра в девять утра открытый урок по Гоголю, надо
успеть выспаться.

Она сделала шаг назад, споткнулась о край тяжелого ковра, мир снова крутанулся безум-
ным калейдоскопом, лондонский смог втянулся внутрь хрустального графина, и Александра
Сергеевна Пушкина ощутила под собой жесткое сиденье своего надстроенного стула на кухне
в провинциальном городе N.

В окно стучал все тот же унылый июньский дождь XXI века. Графин с виски был пуст
на треть.

Александра Сергеевна вздохнула, аккуратно слезла со стула, бережно помыла бокал и,
шлепая маленькими шагами по линолеуму, пошла спать. Мир оставался прежним – глупым,
эгоистичным и завернутым в красивую обертку возвышенных иллюзий. И только она знала
всему этому истинную цену.

«Баллада о любви», В. Высоцкий

Майский полдень выползал на пыльную брусчатку провинциального города N с ленивой грацией сытого питона. Воздух, густой и маслянистый, дрожал над раскаленным шифером гаражного кооператива, где в тени единственного выжившего карагача творилось таинство.

Александра Сергеевна Пушкина восседала на перевернутом пластиковом ящике из-под крымских томатов. Положение ее тела в пространстве – ровно девяносто сантиметров от подошв лакированных туфель до макушки строгого седого пучка – являло собой абсолют геометрической гармонии. В ее крошечных фарфоровых руках, лишенных малейшего тремора, покоился томик Владимира Семеновича Высоцкого.

Перед ней, на засаленном капоте вишневой «девятки», сидел Юрочка Пистаков – местный автомеханик и по совместительству бывший двоечник 9-го «Г», чья голова была забита карбюраторами и экзистенциальным ужасом перед бывшей классной руководительницей.

– Ты вслушайся, Юрочка, в этот ландшафт, – заговорила Александра Сергеевна, и голос ее, густой и бархатный, словно виолончель в пустом соборе, заставил Пистакова выпустить из рук гаечный ключ. – Какая акварельная, средневековая высь! «Когда вода Всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов...» Это же чистейший генезис духа, Юрочка. Поэзия, вышедшая из первозданного хаоса, чтобы зафиксировать величайшую мистерию человечества – Любовь. Автор возводит над нашей серой, сирой реальностью хрустальный купол рыцарского мифа. «И с рыцарей своих – для испытаний – все строже станет спрашивать она...» Боже мой, какой полет, какая сакральная нежность, какая тоска по недостижимому идеалу, где двое растворяются в вечности, презирая тлен и земное притяжение!

Юрочка Пистаков шмыгнул носом, замороженный этой филологической симфонией. Ему показалось, что от старого ящика из-под помидоров исходит сияние, а сама Александра Сергеевна, несмотря на свою комплекцию воспитанника детсада, сейчас закроет собой все душное небо над кооперативом.

В этот момент с соседнего бокса с грохотом сорвалась ржавая петля, и пьяный жестяник Михалыч громко, с оттяжкой выматерился на весь переулок, поминая чью-то мать и неподатливый глушитель.

Александра Сергеевна даже не вздрогнула. Она медленно повернула голову, и ее огромные навывкате мертвенно-умные глаза филологического коршуна сфокусировались на Пистакове. Музыка испарилась. Купол треснул.

– Короче, Юра, клади ключ и слушай сюда, потому что в седьмом классе вам вместо великой песни подсовывают путеводитель по клинике тяжелых психиатрических расстройств, – отчеканила она сухим, звенящим, как скальпель, тоном. – Начнем с того, что этот ваш Высоцкий, при всем моем искреннем трепете перед его надрывом, написал гениальный манифест созависимости, сектантского мышления и латентного фашизма. «Свежий ветер избранных пьянил» – это что за деление людей на сорта? Это гимн кастовой исключительности на почве гормонального всплеска!

Она захлопнула книгу с сухим щелчком, похожим на выстрел.

– Давай препарлируем текст, Юрочка. Ты вообще вдумывался в эту жуть? «Потребуется разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна... Но вспять безумцев не поворотить». Это не любовь, Юра, это тяжелый психоз и добровольный мазохизм. Нормальные, психически здоровые люди от чувств получают радость, растят детей и покупают путевки в Геленджик. Но местным «безумцам» нужен тотальный дефицит сна и разрушение базовых потребностей. Они выстраивают внутри своей головы «Страну Любви», объявляют себя «избранными», а всех остальных, кто просто дышит воздухом, автоматически записывают в биомусор, который «не

жил и не дышал». Это же чистой воды нарциссизм, завернутый в красивую обертку из рыцарских доспехов!

Александра Сергеевна встала на ящике во весь свой крошечный рост. Юрочка Пистаков инстинктивно вжал голову в плечи – сейчас она казалась ему многометровым титаном.

– А дальше начинается настоящий некрофилический культ! «Многих захлебнувшихся любовью не докричишься... погибших от невиданной любви». Автор предлагает нам ставить им свечи в изголовье и умиляться тому, что их душам «дано бродить в цветах». Юра, это пропаганда суицидального романтизма среди несовершеннолетних! Вместо того чтобы отправить этих захлебнувшихся к хорошему психиатру на медикаментозную терапию, их объявляют святыми. А финальный аккорд? «Я поля влюбленным постелю – пусть поют во сне и наяву!» Ты представляешь себе этот уровень аграрного и социального терроризма? Они займут все поля, Юра! Им плевать, что на этих полях людям нужно сеять рожь и собирать турнепс, чтобы не сдохнуть с голоду в нашей провинциальной дыре. Нет, им подавай персональный сеновал вселенского масштаба для круглосуточного караоке!

Она легко, как кошка, прыгнула с ящика на асфальт, аккуратно заправила томик в маленькую кожаную сумочку и посмотрела на ошарашенного автомеханика.

– Поэтически – это шедевр, Юра. Психологически – инструкция по саморазрушению для малолетних дегенератов, которые путают любовь с токсичной зависимостью. Завтра седьмому «Г» так и скажу. Пусть поплачут над двойками.

Она развернулась и пошла прочь по пыльной дорожке между гаражами. Ее маленькие ножки шагали твердо и ритмично, и вся серая, унылая промзона, казалось, послушно расступалась перед этой крошечной женщиной, несущей в сумочке ядерный заряд абсолютного, неистребимого рэцио.

«Барышня-крестьянка», А. Пушкин

Майское солнце вползало в класс сквозь немытые трехметровые окна, щедро золотя заскорузлую замазку на рамах и пыльные макушки тридцати оболтусов. В этой сонной, удушливой тишине, нарушаемой лишь плотоядным жужжанием мухи у доски, вершилось таинство.

На учительском стуле, подложив под себя три тома Большого энциклопедического словаря, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Ее крошечные ножки в лакированных туфельках двадцать четвертого размера, не доставая до пола, мерно покачивались в воздухе, словно маятник самой вечности. Природа, обделив ее ростом – всего девяносто сантиметров от каблуков до седого шиньона, – с лихвой компенсировала это величием духа. Однофамилица гения и Заслуженный учитель страны несла свое имя как боевое знамя.

– Вы только вслушайтесь в эту хрустальную, родниковую чистоту пушкинского слога, – вывела Александра Сергеевна, и ее глубокий, бархатный альт, никак не вяжущийся с кукольным телом, заставил вздрогнуть даже закоренелого двоечника Овнешвили. – «Барышня-крестьянка»... Какая пастораль! Какая упоительная поэзия русской усадебной жизни, где враждующие отцы примиряются в благородном порыве, а чистая, непорочная юность находит дорогу к сердцу сквозь условности сословий. Лиза Муромская, эта чувствительная, воспитанная на французских романах девица, и черноокий Алексей Берестов, чей романтизм подернут дымкой байронического сплина... Это гимн торжествующей искренности, господи шестой «Г». Великий поэт учит нас, что любовь сбрасывает любые маски.

В этот момент тишину беспардонно разорвал утробный звук. Овнешвили, спрятавшись за спину соседа, смачно откусил половину шаурмы, густо заправленной чесночным соусом. Запах дешевого общепита мгновенно убил дух дворянского гнезда.

Александра Сергеевна замолчала. Глаза ее, огромные и цепкие, сузились до размеров пулеметных амбразур. Она медленно сползла со словарей, ступила на паркет и, чеканя шаг, направилась к задней парте. Физически она едва доставала Овнешвили до пупка, но ментально в эту секунду над классом возвышался титан.

– Жрешь, Овнешвили? – тихо, но отчетливо спросила она, и казенный пафос слетел с нее, как сухая шелуха. – Жри, жри. Тебе надо расти, чтобы эффективнее удобрять собой геополитическое пространство. А пока ты перевариваешь этот собачий хвост в лаваше, я сниму с твоих ушей лапшу, которую вам десятилетиями вешают авторы школьных учебников.

Она оперлась крошечной ручкой о край парты и обвела класс леденящим взглядом.

– Вы, стадо будущих потребителей микрозаймов, конечно, видите в этой повести сопливую сказку со счастливым концом. А на самом деле Александр Сергеевич – циник почище меня – написал блестящее клиническое исследование на тему «Как два зажавшихся провинциальных клана развлекаются в условиях тотального безделья и экзистенциальной пустоты».

Александра Сергеевна резко крутанулась на каблуках, отчего ее седой шиньон качнулся, как маятник. Тридцать пар глаз синхронно вильнули за ней. Она хищно оперлась ладонями о первую парту, нависая над съездившейся отличницей.

– Давайте препарируем эту вашу Лизоньку. Нам ее подают как невинное дитя природы. Ага, держи карман шире. Девке семнадцать лет, она заперта в глуши с англичанкой-гувернанткой и откровенно воеет от скуки. И тут в соседнее поместье приезжает молодой, породистый кобель Алексей, который в гробу видал отцовские поля и строит из себя лондонского денди. Что делает наша «чистая» Лиза? Она включает режим матерого политехнолога и мастера маскировки. Заметьте, она не идет знакомиться как равная. Почему? Да потому что она прекрасно знает психологию мужчин своего круга. Если она выйдет к нему в накрахмаленном платье, он зевнет и занесет ее в список «очередных провинциальных дур». Ей нужен крючок. И она устраивает изощренную ролевую игру.

Учительница сделала паузу, театрально вскинув тонкую бровь. В классе было так тихо, что стало слышно, как на улице за окном заводится чей-то мотоцикл. Александра Сергеевна загнула первый крошечный палец на руке:

– Напяливает толстую рубаху, мажется белилами и сурьмой, чтобы скрыть холеную кожу, и включает режим «я у мамы дурочка, коров пасу». Это же чистый БДСМ-карнавал в декорациях Тульской губернии!

Она метнула быстрый взгляд на заднюю парту. Овнешвили замер с открытым ртом, так и не донеся шаурму до зубов; капля чесночного соуса предательски повисла на его подбородке. Александра Сергеевна брезгливо поморщилась и продолжила:

– А что наш байронический герой, этот великий страдалец Алексей? Пушкин прямым текстом стебется над ним! Помните деталь? Алексей пишет письма своей «Акулине» каракулями с мещанскими росчерками, искренне полагая, что для деревенских мозгов это вершина каллиграфии. Уровень IQ этого дворянина – как у твоего соуса, Овнешвили. Он с восторгом заглатывает наживку.

По классу прокатился нервный смешок, который тут же захлебнулся под ледяным взором пушкинской однофамилицы. Она снова двинулась по проходу, шурша юбкой о деревянные стенки парт.

– Почему он влюбляется? Да потому что Акулина для него – безопасный тренажер для эго. Перед барышней надо держать осанку, ухаживать по протоколу, нести ответственность перед ее папенькой. А тут – бесправное деревенское мясо, перед которым можно безнаказанно распускать хвост и читать романтические стихи. Он тешит свое кастовое превосходство, думая, какой он великодушный Робин Гуд, снизошедший до лаптей.

Александра Сергеевна прошла между рядами. Подростки, затаив дыхание, провожали глазами маленькую женщину, чьи слова резали воздух, как скальпель.

– Но самый цимес – это финал, – усмехнулась учительница. – Отец Алексея приказывает ему жениться на богатой наследнице Муромской. Наш герой, весь такой мятежный и верный своей Акулине, бьет себя копытом в грудь: «Ни за что! Умру, но не предаю любовь!» Приезжает устраивать скандал, влетает в комнату... а там сидит Лиза. В своем настоящем обличье. И что происходит? «Ах, это вы!» – и занавес, все счастливы, свадьба, ура.

Она брезгливо вырвала из рук опешившего Овнешвили остаток шаурмы, швырнула его в открытое окно и резко развернулась к притихшей аудитории.

– Вы хоть понимаете всю глубину этого фарса? Алексей ни на секунду не задумался о том, что его жестоко, цинично обманывали несколько месяцев. Его не стошнило от того, что любимая девушка держала его за клинического идиота. Почему? Да потому что облегчение перевесило гордость! Ему больше не нужно выбирать между сытой жизнью помещика и романтическим побегом в шалаш с неграмотной бабой. Пушкин показывает нам абсолютный триумф соглашательства и конформизма. Приспособленчество победило гордость, а социальный статус навел идеальный макияж на откровенную ложь. Пронесло! И волки сыты, и Акулина – дворянка. Какая мерзость...

Александра Сергеевна остановилась у стола, легко, одним прыжком, вернулась на свое возвышение из энциклопедий и посмотрела на замершего Овнешвили. У того в руке сиротливо блестела промасленная салфетка.

– Вот вам и вся любовь, господа дегенераты. Обычный сословный договор, упакованный в фантик из березок и сарафанов. Записываем домашнее задание: эссе на тему «Симулякры и суррогаты чувств в повести Пушкина». И не дай бог кто-то напишет мне про «светлую любовь» – лично скормлю ваши тетради нашему Овнешвили вместо обеда. Звонок через минуту, валите на свежий воздух, пока я не задохнулась от вашего интеллектуального бессилия.

Басни Эзопа

Майский полдень тянулся над провинциальным городом N сладкой, липкой лентой, сонной и душной, как недоеденный чак-чак в учительской. Воздух казался взвесью чистейшего петербургского сплина, занесенного в наши широты случайным сквозняком истории. В кабинете русского языка и литературы стояла та благоговейная, почти храмовая тишина, какая случается лишь в моменты, когда человеческий дух соприкасается с вечностью.

На высоком, специально модернизированном дубовом стуле, напоминавшем судейскую кафедру в миниатюре, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Заслуженный учитель страны, чья грудь едва вмещала тяжелый металл государственной медали, казалась деталью изысканного барочного гарнитура. Девяносто сантиметров абсолютного, концентрированного интеллекта. Ее крошечные ножки в лаковых туфлях двадцать четвертого размера не доставали до пола, но ментальная тень, отбрасываемая этой женщиной, накрывала кабинет, коридор и, казалось, всю близлежащую промзону.

Перед ней, оцепенев, сидел шестой «Г». Сборище малолетних гуннов, чьи гормональные бури обычно разносили школу в щепки, сегодня замерло. Александра Сергеевна держала в крошечных фарфоровых пальцах томик Эзопа.

– Вы только вслушайтесь в этот слог, господа, – ее голос, неожиданно глубокий, бархатный альт, вибрировал под потолком. – Шестой век до нашей эры. Заря человеческой мысли. Эллада, омываемая лазурными волнами Эгейского моря, рождает гения, сумевшего закодировать всю сложность космического порядка в простые, кристально чистые притчи. Какой трепет, какая звенящая нежность к заблудшему человечеству! Эзоп не просто слагал – он врачевал наши души через аллегории; его басни – это симфония духа, где каждый волк и каждая овечка суть метафоры божественного поиска гармонии...

В этот момент на третьей парте Степка Ерьмоделов, страдающий хроническим гайморитом и полным отсутствием коры головного мозга, громко, с хлюпаньем втянул носом сопли.

Александра Сергеевна замолчала. Музыка сфер оборвалась.

Она медленно опустила книгу. Ее огромные, навывкате глаза, в которых только что светилося пламя Парнаса, сузились до размеров лезвий канцелярского ножа. Она посмотрела на Ерьмоделова так, словно он был не учеником, а прискорбным пятном плесени на обоях.

– Ерьмоделов, высморкайся в тетрадь по геометрии, все равно она тебе не понадобится, – сухо, без тени прежней бархатистости, чеканя каждое слово, произнесла Пушкина. Стиль ее мгновенно приземлился в жесткое пике грязной подворотни. – Боже, какой же шлак нам втирают в методичках. «Симфония духа», господи прости. Выкиньте этот бред из головы. Эзоп – это первый в истории дипломированный терапевт для конченных неудачников и завистливых тварей.

Класс затаил дыхание. Степка Ерьмоделов замер с платком у носа. Александра Сергеевна прыгнула со стула. Движение было резким, профессиональным. Ее маленькая фигурка, едва достававшая до скола на школьной доске, транслировала энергию разъяренного питбуля.

– Давайте снимем эти розовые сопли с Античности, – Пушкина зашагала по подиуму у доски. – Что нам талдычит учебник про басню «Лиса и виноград»? Что это критика человеческой гордыни? Хрен там. Это чистый, дистиллированный психоанализ нищенского менталитета и лузерства. Лиса – типичный офисный планктон. Пришла, увидела топовый продукт, дотянуться не смогла, потому что лапки из задницы растут и компетенций ноль. И что она делает вместо того, чтобы прокачать прыгучесть или найти стремянку? Она включает защитный механизм рационализации. «Он зелен». Виноград говно, компания говно, «Айфон» очередной – отстой, у него экран мерцает, а на «Порше» только воры ездят. Эзоп фактически

описал зарождение хейтерства в комментариях. Это гимн ничтожеству, которое оправдывает свою лень порчей чужой репутации.

Она резко повернулась на каблуках, заставив вздрогнуть первую парту.

– Или возьмем «Стрекозу и Муравья». У Эзопа это «Кузнечик и Муравей», но Крылов потом слизал, неважно. Из муравья сделали героя труда. Стахановец, опора экономики. Ребята, откройте глаза: Муравей – это душный, латентный садист и домашний тиран. Кузнечик все лето занимался искусством. Да, он тунеядец, да, у него кассовый разрыв. Но он приходит зимой к чуваку, у которого полные закрома. Муравью эта несчастная горсть зерна погоды не сделает. Но Муравью не нужна экономическая выгода. Ему нужно доминировать и унижать. «Пойди-ка попляши!» – это же чистый кайф мелкого чиновника, который дорвался до распределения благ. Муравей не спасает ресурсы, он упивается чужой смертью. Эзоп показал нам, что так называемая «добродетель» в человеческом обществе чаще всего – это просто легальный способ быть сволочью.

Пушкина остановилась прямо перед Ерьмоделовым. Ростом она была аккурат с его плечо, сидящего за партой, но Степке казалось, что над ним висит бетонный монолит.

– А «Волк и Ягненок»? – Александра Сергеевна горько усмехнулась, обнажив мелкие, ровные зубы. – Думаете, басня о силе и незащищенности? Нет. Это басня о том, как бюрократия насилует здравый смысл. Волку не просто хочется жрать. Если бы он был нормальным хищником, он бы схватил этого ягненка за секунду. Но Волку нужно юридическое обоснование! Ему нужен протокол! «Ты мутишь воду», «твой брат мне нагрубил». Волк – это прокурор на сфабрикованном процессе. А Ягненок – кретин, который пытается оправдаться перед системой, цитируя законы физики: «Я ниже по течению стою». Да плевать системе, где ты стоишь. Если тебя решили оптимизировать, твоя логика – это просто белый шум для протокола. Эзоп написал инструкцию по выживанию в тоталитарном государстве, а вы в тетрадках пишете: «Волк плохой, потому что злой». Волк плохой, потому что он лицемер с мандатом!

Она легко, словно гимнастка, запрыгнула обратно на свой кастомный стул. Класс не шевелился. Даже муха, летавшая у окна, казалось, зависла в воздухе, боясь нарушить плотность цинизма в классе.

– «Хомно сапиенс» за две с половиной тысячи лет не изменился ни на йоту, – резюмировала Александра Сергеевна, аккуратно закрывая книгу. – Мы все те же животные из эзоповского бестиария, просто вместо шкур у нас брекеты и кредитные овердрафты. На дом – прочитать басню «Ворон и Лисица» и письменно ответить на вопрос, почему Ворон – клинический идиот, заслуживший голодную смерть за свое тщеславие. Звонок. Свободны.

Шестой «Г» подцепил рюкзаки и бесшумно, почти на цыпочках, двинулся к выходу. Они выходили из кабинета русского и литературы другими людьми – со снятыми иллюзиями и четким пониманием того, что мир устроен гораздо паршивее, чем им рассказывали родители. А Александра Сергеевна Пушкина сидела на своем высоком стуле, маленькая, безупречная и величественная, как сама истина, и со светлой, почти детской нежностью смотрела в окно, за которым цвел жасмин.

«Бедная Лиза», Н. Карамзин

Дорога к средней общеобразовательной школе № 36 города Энска в середине туманного ноября являла собой зрелище поистине мифическое. Свинцовые хляби небесные изливались на щербатый асфальт, превращая пришкольный двор в подобие Стикса, по которому, увязая в резиновых сапогах, брели унылые тени – ученики девятого «Г». В классе пахло мокрой шерстью, дешевым вейпом со вкусом химозной земляники и тотальной безысходностью.

За учительский стол с подпиленными трудовиком Палычем ножками уселась Александра Сергеевна Пушкина – девяносто сантиметров живого роста, увенчанная безупречным седым шиньоном. Заслуженный учитель РФ, чья крошечная, похожая на птичью лапку кисть держала тяжелый том Карамзина так, словно это был скипетр.

Ее физический рост заставлял недалеких завучей поначалу сюсюкать, но первый же взгляд ее огромных, навывкате, ястребиных глаз выжигал на лбу любого собеседника клеймо интеллектуальной неполноценности. Она была лилипуткой, но, когда она начинала говорить, класс невольно втягивал головы в плечи – ментальный масштаб этой женщины заполнял кабинет, вытесняя кислород.

– Николай Михайлович Карамзин, – начала Александра Сергеевна, и голос ее, неожиданно густой, бархатный, старомодно округлый, поплыл над партами, точно колокольный звон над Окой. – О, сокровища сентиментализма! Какая неизбывная грация чувств, какая хрустальная чистота слога, ангелы мои. Вслушайтесь в эту элегическую грусть: «Исполненная нежной страсти, Лиза летела, как птица, к своему любезному...» Это гимн первозданной, неиспорченной душе, не знающей сословных предрассудков. Карамзин открыл нам, грубым и заскорузлым, великую истину: «И крестьянки любить умеют!» Какое благородство замысла, какая пасторальная идиллия, где слеза чище алмаза, а вздох уподоблен дуновению зефира...

На задней парте дегенерат Какахин, трижды судимый комиссией по делам несовершеннолетних за кражу одного и того же велосипеда, громко сглотнул слюну и попытался незаметно сплюнуть в пустую банку из-под энергетика. Банка с металлическим звоном покатилась по линолеуму.

Александра Сергеевна замолчала. Музыка сфер оборвалась. Она медленно перевела взгляд с окна на Какахина, и ее лицо, секунду назад сиявшее филологическим экстазом, превратилось в маску абсолютного, леденящего цинизма.

– Подними жестянку, животное, – сухо, без капли прежнего пафоса отчеканила Пушкина. Опершись крошечными локтями о стол, она окинула класс взглядом патологоанатома, осматривающего морг после праздников. – Впрочем, Какахин, твоя реакция естественна. Карамзинская «Бедная Лиза» – это ведь не про ангелов. Это, господа инфузории, первый в русской литературе задокументированный кейс о том, как деревенская шкура и столичный мажор устроили взаимный сеанс психологического мазохизма, закончившийся закономерным самовыпилом.

Класс мгновенно подобрался. Земляничный вейп затих.

– Вы же читаете это глазами методистов из Минпросвещения, – Александра Сергеевна брезгливо перелистнула пожелтевшую страницу. – «Ах, совратил, ах, бросил, ах, сословное неравенство». Чушь собачья. Давайте препарируем текст. Эраст. Нам его рисуют как коварного соблазнителя. Да у этого Эраста IQ как у этой парты, и психологическая зрелость комнатной герани. Карамзин прямо пишет: «он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии». Чувак тупо маялся от скуки в столичном обществе, словил экзистенциальный кризис и решил поиграть в дауншифтинг. И тут ему подворачивается Лиза с ее ландышами.

Пушкина усмехнулась, отчего ее маленькое лицо покрылось сеточкой благородных морщин.

– Думаете, Лиза – невинная овечка? Включите мозги, если они у вас не окончательно растворились во ВКонтакте. Лиза – классическая созависимая манипуляторша с комплексом спасателя. Она продает ландыши за пять копеек, Эраст дает ей рубль, а она: «Ой, нет, много, я не возьму!» Что это? Правильно, базовая пикап-технология «ближе-дальше». Деревенский маркетинг. Она моментально просекла, что перед ней сытый, инфантильный городской дурачок, которого надо брать на «чистоту и бескорыстие». И Эраст, этот романтический debil, покупается. Он возомнил, что попал в пасторальный роман. Он ведь с ней спать сначала не хотел! Он хотел «чистой любви», платонически сопли размазывать по березовой коре.

Она встала прямо на стул, чтобы ее было лучше видно. Рост крошечный, но энергетика – как у термоядерного реактора.

– А теперь смотрим кульминацию этого цирка. Цитата: «Лиза не была уже ангелом непорочности... Эраст не мог уже довольствоваться одними ласками...» Перевожу на ваш дегенеративный: как только случился интим, у Эраста моментально упали розовые очки. Пастораль закончилась, началась бытовуха. Оказалось, что без нимба непорочности Лиза – это просто необразованная крестьянка, от которой пахнет навозом и кислым молоком, и поговорить с ней решительно не о чем, кроме как о вязании чулок и ее захворавшей матушке. Эраст врубает классический мужской игнор. Сваливает на войну.

Александра Сергеевна ядовито хмыкнула, поправляя строгие очки.

– На войну, Карл! И как он там воюет? «Вместо того чтобы сражаться с неприятелем, проиграл в карты почти все свое имение». Гениально. Стратег. Чтобы спасти задницу от долговой ямы, он женится на пожилой богатой вдове. Нормальный, здоровый шкурный интерес. И тут наша Лиза видит его в карете в Москве. Эраст пытается откупиться – дает ей сто рублей. Ребята, сто рублей тогда – это стоимость небольшого стада коров. Можно было выкупить себя из крепостных, купить дом, нанять батраков и жить как королева Серпуховского уезда. Но у Лизы включается терминальная стадия истерического психоза. «Ах, раз ты меня не любишь, то я пойду и утоплюсь в пруду под березками, чтобы тебе, козлу, всю жизнь икалось!»

Пушкина замолчала, глядя на притихших девятиклассников с глубоким, искренним состраданием к их умственной немоции.

– Это не трагедия любви, – тихо, но веско произнесла она. – Это трагедия уязвленного эго. Лиза топится не от горя, а ради финального, абсолютного торжества над психикой Эраста. И она своего добилась! Карамзин пишет, что Эраст был несчастлив до конца дней, считал себя убийцей и выл на ее могиле. Чистая, дистиллированная бабья месть, завернутая в красивую обертку сентиментализма. Она уничтожила его жизнь своей смертью. Искусство, дети мои, безупречно в своей форме, но человеческая природа, породившая его – это клоака. Запишите тему домашнего сочинения: «Эгоизм как движущая сила русского сентиментализма». Вопросы есть?

Класс сидел не шевелясь. Даже Какахин боялся дышать, глядя на маленькую женщину, которая только что, мимоходом, размазала по стенке всю школьную программу по литературе за девятый класс.

– Вот и отлично, – Александра Сергеевна легко прыгнула со стула на пол, исчезнув из поля видимости задних парт, и лишь ее строгий голос прозвучал напоследок: – Звонок через минуту. И не дай бог кто-то в сочинении напишет мне про «трепетные чувства». Соберу ваши тетради и утоплю в школьном туалете. Сентиментально, разумеется.

«Бедные люди», Достоевский Ф.

Вечер опускался на провинциальный город N густой, как липовый мед, сиреневой дымкой. Над рекой плавал сырой туман, окутывая облупленные колонны заброшенного речного вокзала, где на полусгнившей пристани, среди ржавых причальных кнехтов и выброшенного прибоем пластика, устроилась Александра Сергеевна Пушкина.

Ее специальные туфельки двадцать четвертого размера едва заметно качались над бездной темной, ленивой воды. При росте девяносто сантиметров и весе упитанного первоклассника, завернутая в тяжелую, дореволюционного кроя драповую ротонду, она казалась забытой кем-то на пирсе фарфоровой куклой. Однако в этой кукле пульсировал мозг планетарного масштаба. Заслуженный учитель Российской Федерации, Пушкина Александра Сергеевна, смотрела на догорающий закат сквозь старомодные очки, и в ее глазах отражалась вся скорбь русской словесности.

Рядом, на позаимствованном со стройки ящике, сидел Артем Захудайлов – бывший двоечник, а ныне студент-первокурсник автодорожного техникума. Он принес бывшей учительнице термос с липовым чаем просто потому, что в этом городе она была единственным существом, чей интеллект не вызывал у него ощущения полной бессмысленности бытия.

– Вы только вслушайтесь в этот шелест волн, Артемий, – тихо, певуче заговорила Александра Сергеевна, и ее низкий, грудной, невероятно богатый обертонами голос поплыл над рекой, словно колокольный звон. – В такую же сырую, промозглую петербургскую ночь великий гений девятнадцатого века, Федор Михайлович Достоевский, сотворил свое первое, величайшее чудо. «Бедные люди»... О, этот трепет маленького сердца! Какое благоговение перед чистой душой человеческой, какая святая, хрустальная эмпатия к сирым и убогим! Это не просто роман, мой мальчик. Это литургия во славу человеческого духа, где каждое «маточка моя» и «ясочка» – как слеза младенца, омывающая грехи вселенной. Какая тонкая, пасторальная платоническая любовь Макара Девушкина к Вареньке Доброселовой! Чистота, возведенная в абсолют, гимн самопожертвованию...

Она замолчала. На секунду показалось, что старая учительница сейчас расплчется от избытка филологического восторга.

В этот момент тишину бесцеремонно нарушил жирный, обожравшийся прибрежный баклан. Он с мерзким, утробным курлыканьем приземлился на соседний кнехт, натужился и выдал огромную, белую кляксу прямо на ржавое железо, после чего тупо уставился на людей.

Александра Сергеевна медленно повернула к птице голову. Поправила очки. Глаза ее за стеклами сузились, превратившись в два лезвия из дамасской стали. Магия девятнадцатого века испарилась, как спирт на солнце.

– Посмотри на эту тварь, Артем, – отчетливо, ледяным и абсолютно плоским голосом произнесла она. – Жрет помой, гадит под себя и считает себя венцом творения. В точности как Макар Алексеевич Девушкин.

Артем Захудайлов вздрогнул и едва не пролил чай.

– Александра Сергеевна, вы же только что... про святую эмпатию... – пролепетал он.

– Забудь, – отрезала Пушкина, ловко спрыгивая с края пристани. Из-за своего роста она казалась со спины ребенком, но когда она развернулась, ее тяжелый, давящий авторитет физически прижал первокурсника к ящику. – В школе вам, дебилам, внушают, что «Бедные люди» – это про сострадание к «маленькому человеку». Хрен там плавал. Достоевский в свои двадцать четыре года написал гениальный, беспощадный психиатрический анамнез двух конченных эгоистов и манипуляторов, которые прикрывают душевную гниль кружевным эпистолярным стилем.

Она заложила руки за спину и принялась мерить пирс крошечными, но яростными шагами.

– Давай препарируем этот их «хрустальный роман». Кто такой Макар Девушкин? Нищий титулярный советник, переписыватель бумажек, у которого из достижений в жизни – только отсутствие выговоров. И тут он находит Вареньку. Сиротку с мутным прошлым, которую совратил помещик Быков. Что делает наш «святой» пожилой неудачник? Он снимает комнату в трущобах напротив ее окон. Зачем? Чтобы – сука! – наблюдать. Спасает он ее? Нет. Он покупает ей гераньку и бальзаминчик. Гераньку, Артем! Девке жрать нечего, у нее туберкулез на пороге, а этот сорокасемилетний хрыч шлет ей конфетки и цветочки, спуская на это последние копейки, занимая под дикие проценты.

Она остановилась и ткнула маленьким пальцем в грудь студента:

– Это называется «синдром спасателя» в самой запущенной, извращенной форме. Макару не нужно, чтобы Варенька сытно ела. Ему нужно чувствовать себя благодетелем. Ему жизненно необходим этот суррогат отцовства и кастратской любви. Он покупает свое самоуважение на рынке нищеты. Он ей пишет: «У меня и кусок в горло не лезет, если я знаю, что ты там голодаешь». Слышишь этот шантаж? «Я сдохну с голоду, Варя, но ты сиди и чувствуй себя виноватой за мою доброту!». Это чистый, дистиллированный психологический абьюз. Он упивается своим убожеством. Когда у него отрывается пуговица перед лицом генерала – это же для него экстаз, высшая точка его мазохистского бытия! Его пожалели, дали сто рублей. И на что этот идиот их тратит? На долги? На сапоги? Нет, он идет пить горькую и покупать Вареньке новые тряпки. Потому что если Варенька перестанет быть несчастной куколкой в его окне, Макар превратится в то, что он есть – в пустое место, в плевок на петербургской мостовой.

– А Варенька? – заворуженно спросил Захудайлов, боясь пошевелиться.

– А Варечка – та еще стерлядь, – цинично усмехнулась Александра Сергеевна, поправляя воротник тяжелой ротонды. – Она прекрасно выучила правила этой коммунальной игры. Она в каждом письме ноет: «Ах, Макар Алексеевич, мне так неловко, вы на меня последние деньги тратите, ах, не надо, ах, я плачу». И тут же, в следующем абзаце: «Кстати, пришлите мне три рубля на нитки и теплую шаль, а то я совсем зябну». Она юзает его как бесплатный банкомат с функцией психотерапевта. Она сидит в своей каморке, строчит жалобные мемуары про свое детство и ждет, пока прилетит нормальный спонсор. И как только на горизонте появляется тот самый Быков – чувак, который ее растоптал и обесчестил, но у которого есть имение и бабки – наша «чистая голубица» мгновенно делает ручкой Макару.

Пушкина закатила глаза и всплеснула крошечными ручками, изображая жеманство.

– «Ах, Макар Алексеевич, Быков делает мне предложение, я должна согласиться, уезжаю в степь, закажите мне у модистки фальбалу и кружева!» Все! Финита! Девушкин ей больше не нужен, его ресурс исчерпан. Она загружает несчастного старика, у которого сердце разрывается, побегушками по магазинам – выбирать ей свадебные шмотки. Это ли не высший пилотаж садизма? Она уезжает жить в роскоши, оставляя его сходить с ума в удушливом углу без единого шанса на спасение. А Достоевский сидит со стороны и злорадно потирает руки: он показал вам, идиотам, как люди под видом «высоких чувств» банально жрут друг друга живьем. Один кормится своей праведной нищетой, вторая – его последней кровью.

Александра Сергеевна замолчала. Закат окончательно потух, уступив место глухой, провинциальной ночи. Крошечная женщина в драповом пальто снова повернулась к реке. Ее силуэт, едва достигавший пояса стоявшего рядом Захудайлова, казался монументальным, словно высеченным из гранита.

– Вот тебе и «Бедные люди», Артемий, – тихо, снова возвращаясь к своему бархатному, гипнотическому тону, произнесла она. – Великая книга. Страшная. Читай первоисточники, а не методички гороно. Ну что, нальешь мне еще чаю? Надеюсь, ты не пожалел для своего Заслуженного учителя лишней ложки сахара, как Макар для своей ясочки?

«Бежин луг», Тургенев И.

Июньский закат плавился над бескрайними полями Энской области, разливая по горизонту густой, как липовый мед, багрянец. Воздух, напоенный ароматами чабреца и горькой полыни, замер в истоме, словно боясь спугнуть подступающую кавалерию ночных теней. Земля дышала истоиво, глубоко, как уставший за день пахарь.

В этой торжественной тишине, на самой вершине древнего кургана, возвышался силуэт. Со стороны могло показаться, что на холме застыл позабытый кем-то дорожный чемоданчик, увенчанный пышной соломенной шляпой. Но то была Александра Сергеевна Пушкина.

Рост в девяносто сантиметров и вес домашнего мини-пига не мешали ей созерцать просторы с величием римского императора. Заслуженный учитель РФ стояла, опершись на детскую лыжную палку, заменявшую ей трость, и вглядывалась в синюющую даль, где у реки уже загорались первые рыбацкие огоньки. Рядом на траве сидел ее бывший ученик, а ныне тридцатилетний капитан местной полиции Сережа Выепонов, притащивший ее сюда на руках по старой дружбе – посмотреть на «настоящую тургеневскую ночь».

– Посмотри, Сереженька, – выдохнула Александра Сергеевна, и в ее грудном, неожиданно мощном контральто зазвенели струны чистейшего, хрустального восторга. – Какая невыразимая, святая мистерия! Ведь именно под таким же куполом равнодушного неба рождалась великая русская метафизика. Иван Сергеевич Тургенев в своем «Бежином луге» зафиксировал не просто быт крестьянских детей, нет! Он поймал за хвост самоё душу народную. Помнишь ли ты этот трепет? Пятеро мальчиков у костра, отрезанные от мира глухой стеной тьмы, стерегут табун и вглядываются в бездну. Это же чистый, рафинированный античный хор, застрявший между бытием и небытием. Какое благоговение перед тайной природы, какая нежная, хрупкая поэтика пугающего! Тургенев – великий гуманист, он преклоняется перед этой детской непосредственностью, перед их чистым, не замутненным цивилизацией восприятием космоса...

В этот момент на лыжную палку Александры Сергеевны бесцеремонно сел жирный навозный жук. Учительница неторопливо перевела взгляд на насекомое, легким щелчком пальца отправила его в стратосферу и сухо сплюнула на земляничную поляну.

– Хотя если снять розовые очки и убрать на хрен эту дворянскую патоку, – ее голос мгновенно утратил оперный блеск, превратившись в скрип ржавых тюремных ворот, – то «Бежин луг» – это образцовый триллер о том, как стайка малолетних дегенератов под присмотром контуженного барина занимается членовредительством на почве тотальной нищеты и мракобесия.

Сережа Выепонов вздрогнул и чуть не выронил сигарету.

– Александра Сергеевна, вы чего? Это же третий класс школы, литературный шедевр...

– Шестой, Сережа, шестой. Но наши методисты упорно делают вид, что это сказка про костерок, а не социальный хоррор. Давай препарируем этих «чистых ангелов» по тексту. Иван Сергеевич, сытый барин с ружьишком, заблудился. Выходит к костру. Кто перед ним? Пятеро пацанов. Старшему, Феде, лет четырнадцать. И что делает этот барчук из кулацкой семьи? Он там вообще царь и бог, приехал «погулять». Он снисходительно поправляет армяк и лениво слушает, как нищая голытьба кормит друг друга байками про покойников и водяных. Федя – это будущий эксплуататор, он уже в четырнадцать лет научился со скучающим видом жрать чужой ресурс.

Александра Сергеевна поправила шляпу, которая из-за ее крошечной головы казалась огромным подносом, и хищно прищурилась.

– Но самый цимус – это Ильюша и Костя. Два малолетних шизофреника с тяжелой формой посттравматического стрессового расстройства. Почитай, что они рассказывают! Ильюша вздохнул, с придыханием смакует, как на бумажной фабрике, где он херачит с малых лет, его до полусмерти пугает домовый. У ребенка от двенадцатичасового рабочего дня в сырости и

грохоте чанов уже галлюцинации начались, у него психика разрушена в хлам! А Костя? Костя рассказывает про Гаврилу-плотника, который в лесу русалку встретил и теперь «все невеселый ходит». Да у Гаврилы обычный клинический депрессняк от беспросветной жизни, а пацаны возвели это в культ. Они живут в мире, где любое дерьмо – от невыплаченного оброка до аппендицита – объясняется происками чертей. Это не «непосредственность», Сережа, это запредельная, дремучая необразованность, замешанная на коллективном психозе. Они сидят у костра и буквально накручивают друг друга до состояния панической атаки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.